



Эссе



## 1. Влечение — род недуга

Человека, который хоть недолго был поэтом, я узнаю с первого взгляда. И не важно, кем он стал после своей поэтической кончины — журналистом, прозаиком, политиком, инженером, бизнесменом, генералом, бомжом... Как заметил, кажется, Флобер: на дне души самого жалкого бухгалтера таятся обломки великого поэта. А все дело в том, что поэт — счастливый невольник слова. Он и в быту разговаривает совсем не так, как другие, — не просто обменивается информацией, а наслаждается, упивается рождением внезапного словесного смысла. Он кожей чувствует, что иной крошечный промежуток между словами значит куда больше, нежели сами слова. Для него слово — это живая белка на великом древе, соединяющем землю и небеса. Для большинства же слово — это просто шапка, пошитая из мертвых беличьих шкурок...

Написаны горы сочинений о пророческих способностях поэтов, об их умении предугадывать ход истории. Это действительно так, и профетический дар объясняется, по-моему, именно особенным чувством живого слова. Ведь все события совершаются прежде в языке, в слове, а лишь потом в реальной жизни. Советская цивилизация зашаталась, когда мы пустили в нашу речь такие словечки, как «совок», «коммуняки», «тоталитаризм»... Не случайно было широко подхвачено придуманное мной словечко «апофегей». Оно отразило то межумочное состояние общества, когда по-прежнему жить не хотят, а как надо жить — никто не знает, кроме либеральных ведунов — извечных двоечников нашей истории.

А в 1992-м, едва появились в языке «прихватизация», «демокрады», «ельциноиды» и прочее, стало ясно: вестерни-

зация России если и не отменяется, то откладывается надолго. Помню, как — прочитав в «Труде» мой неологизм «соросята», мне позвонили из фонда Сороса и предложили в обмен на лояльность вояж по американским университетам. Я, конечно, отказался с гордостью человека, только что закончившего штотку последних штанов. Но какова оперативность! Понимают мировые «закулисники» цену точному слову. Поэт благодаря особому дару улавливает тихую языковую подготовку исторических сломов раньше остальных людей. «И гад морских подводный ход» — сказано Пушкиным именно об этом, а не о миграциях косяков атлантической сельди.

Поэт может молчать в разговоре, но по тому, как загораются его глаза при удачном чьем-то слове, сразу понимаешь — кто он таков. В 1986 году я был с творческой, так сказать, миссией в Сирии и встречался с тамошними литераторами. В мою задачу входило проинформировать писательскую общественность о том, как поставлено литературное дело в тогдашнем СССР, а организовано оно было, если вынести за скобки мягкий, но твердый идеологический контроль, отлично. Мой рассказ о писательской жизни Страны Советов арабы слушали с неподвижными лицами, мерно перебирая четки. Некоторое оживление вызвали лишь сведения о тиражах тогдашних толстых литературных журналов. Когда я сообщил, что тираж «Юности» — три с половиной миллиона, они глянули на меня так, точно хотели сказать: «Хоть ты и гость, уважаемый, но врать все равно нехорошо, у нас за это бьют палкой по пяткам...» В заключение переводчик Олег Бавыкин попросил меня прочитать хотя бы одно мое стихотворение. Я пожал плечами, посмотрел на эту невозмутимую бедуинскую аудиторию и продекламировал:

*Война уже потеряна из вида.  
И генералы — не фронтовики,  
А все ж у мира, как у инвалида,  
Болит ладонь потерянной руки...*

Бавыкин перевел, как умел, — и вдруг эти равнодушные люди пустыни закивали, зацокали языками, заулыбались, запереглядывались, как заправские московские стихотворцы, оценившие удачную метафору коллеги за пивом в ЦДЛ. И я понял, что нахожусь среди поэтов. Мне даже показалось (стихотворцы тщеславны!), будто в гортанном клетоте мелькнуло словечко «гениально». Внутрицеховая оценочная шкала русских поэтов имеет только две отметки — «гениально» и «г...но». (Подробнее об этом в моем романе «Козленок в молоке».) От встречи осталось еще одно любопытное впечатление: сквозь антропологию иной расы в лицах сирийских писателей угадывались до боли знакомые черты московских коллег. «Смотри — вот там Ибн-Евтушенко!» — шепнул мне переводчик, кивая на худого нервного араба — черный обруч на его игале сдвинулся набекрень. Он и в самом деле был удивительно похож на нашего громкого поэта, умеющего ссориться с властью с неизменной выгодой для себя. «А вон — Ибн-Михалков...» И точно! Только звезды героя на белом соубе не хватало. Вероятно, в любом литературном сообществе в силу внутренних законов всегда есть неизбежные вакансии, которые замещаются людьми со схожими данными, в том числе и внешними. Возможно, в будущем, когда мы познакомимся с марсианским поэтом, прибывшим в составе инопланетной делегации, кто-то всплеснет руками: «Батюшки, ну вылитый Юрий Кузнецов!»

Думая сегодня о той давней поездке, вспоминая цветущие Дамаск и Алеппо, вспоминая Пальмиру, этот античный мираж посреди пустыни, я с тоской смотрю на телевизионные пейзажи современной Сирии: бесконечные серые лабиринты полуразрушенных стен и горы щебня. Можно ли было избежать этого всесирийского погрома? Наверное... Но почему-то на память мне приходит наш гид, араб, учившийся в России, он с насмешкой упорно называл тогдашнего президента Асада, отца нынешнего Башара, «тыквоголовым», вкладывая в эту дразнилку какую-то старую клановую неприязнь. А вот Российская империя зашаталась, когда последнего царя в народе стали звать Николашкой... И опять дело в словах...

Но вернемся к поэзии. В разные эпохи стихи востребованы по-разному. Иногда они выдвигаются на роль самого активного и знаменитого вида искусства. Так было перед Октябрьской революцией и после нее. Слава Маяковского и Есенина общеизвестна. Евтушенко, Окуджава, Вознесенский, Ахмадулина полвека жили на проценты с того успеха, который обрушился на них в 60-е годы, когда послушать стихи люди собирались на стадионах и в ответ на удачную метафору слушатели ревели покруче, чем теперь ревут, восторгаясь искусно забитым голом. Лариса Васильева рассказывала, как почитатели поэзии на руках выносили ее на улицу после вечера в Политехническом. Кстати, благодаря кадрам, вошедшим в удивительный фильм М. Хуциева «Застава Ильича», можно вообразить, будто именно показанные в фильме поэты (Евтушенко, Окуджава, Рождественский, Казакова, Вознесенский, Ахмадулина) и были в ту пору исключительными фаворитами.

Но это вовсе даже не так. Столь же бурно воспринимались стихи и некоторых других поэтов, а самые восторженные аплодисменты вызвали те, что прочитал Сергей Поликарпов, которого долго не отпускали со сцены. Почему Хуциев не включил самое яркое выступление в свой фильм? Могу предположить: для него — птенца интернационального гнезда — стихи Поликарпова показались слишком русскими, или, как иногда выражались, посконными. Поэта такая несправедливость буквально сломила, исказив отчасти его литературную судьбу, он не стал, как и многие его достойные сверстники, героем текущей истории поэзии. Правда, есть еще итоговая история поэзии. Подождем... Несколько лет назад мы в «Литературной газете» опубликовали те самые стихи, которые Поликарпов прочел тогда в Политехническом. Они действительно хороши и несколько не устарели в отличие от сочинений, озвученных тогда же со сцены его более удачливыми сверстниками.

Вероятно, в человеческом обществе случаются периоды обостренного восприятия стихотворного слова, как бывают периоды религиозной экзальтации или повышенной воинственности. С чем это связано — с солнечной активностью, со сменой культурного кода, с очередным извивом этногенеза? Бог знает... Но наступают времена, когда поэзия уходит из

сферы духовных приоритетов, дробится и сжимается до крошечных кухонных парнасиков. Она переходит, как сказали бы врачи, в латентное состояние, в каковом, кстати, пребывает сейчас. Борясь с равнодушием общества, поэты придумывают «завлекалочки»: иногда талантливые, как у куртуазных маньеристов, иногда убогие, похожие на срежиссированные эпилептические припадки, как у Пригова. Снимается и уровень версификации. Сложение стихов уже не напоминает резьбу по благородному дереву, скорее — торопливую лепку из пластилина. А к тому, что не требует мастерства, траты времени и душевных сил, и отношение соответствующее: крошечные залы полузаполнены не фанатами поэзии, а подругами и собутыльниками стихотворцев, которые даже не помнят наизусть своих опусов, а читают их с листа, путаясь и словно стесняясь написанного. Уверяю вас, если поэт по-настоящему оттачивал стихотворение, он запомнит его на всю жизнь, как солдат номер полевой почты. Читать стихи с бумаги — это как объясняться в любви, сверяясь с интернетом.

Однако, по моим наблюдениям, процент людей с поэтическим мироощущением постоянен, как число, скажем, гомосексуалистов или левшей. Своим присутствием, даже незаметным, они играют какую-то не до конца еще понятую роль в жизни человеческого сообщества. А может быть, поэзия — вообще какая-то «высокая болезнь» человеческого духа или языка? Не случайно с самых отдаленных времен поэтов считали собеседниками богов, людьми, которым, как и жрецам, доступна небесная изнанка мира. Они слышат, как «звезда с звездой говорит». Причем болезнь эта эротическая, и давно замечено, что лучшие стихи сложены именно о любви, чаще несчастной или безответной, как у Петрарки к Лауре. Впрочем, изредка встречаются большие поэты, обошедшие в своих стихах любовь стороной. Например, Александр Твардовский.

Не исключено, поэзия — своего рода компьютерный вирус, занесенный в искусственный интеллект киборгов — наших предков — и приведший в конечном счете к возникновению у клонированных из праха тварей того, что мы называем душой. Впрочем, кажется, в юности я перечитал Брэдбери и Стругацких...



Сказать, что поэзия — тайна, это примерно то же самое, как если сказать, что любовь — это любовь. Не могу объяснить, почему всякий раз у меня выступают на теле мурашки, когда я повторяю, скажем, такие строчки Владимира Соколова:

*На влажные планки ограды  
Упав, золотые шары  
Снопом намокают, не рады  
Началу осенней поры...*

Кто знает, может, поэзия — это самый совершенный на сегодняшний день способ консервации энергии мысли и чувств, способ, сохраняющий не только результат, но и сам процесс творчества. В этом я убедился, составляя поэтический том моего собрания сочинений и перебирая архив. Иные пожелтевшие черновики я взял в руки без малого через сорок лет. И что? Я отчетливо вспомнил все свои тогдашние мысли, чувства и ассоциации, породившие ту или иную строку, вспомнил давно забытых людей, их лица, голоса. Более того, мне удалось вернуться в прежнее творческое состояние, ощущение юношеские муки, когда метафора не лезет в размер, а сравнение напоминает бант на заднице провинциальной кокетки. Вот ведь как! Но даже если ты не поэт и читаешь чужие стихи, все равно на подсознательном уровне ты воспринимаешь не только итог, но и проживаешь сладостно-мучительный процесс сочинительства, творившийся в чужой душе. Так, наслаждаясь лирикой Пушкина, ты оказываешься, фигурально говоря, в его постели. Нет, не подумайте плохо! Как известно, гений предпочитал творить лежа на ложе...

## 2. Байроновский аспирин

В поэзии, как и в алкоголизме, самое главное — вовремя завязать. Поэтов-долгожителей не так уж много. Назову хотя бы Фета, Тютчева, Случевского, моего учителя Соколова. Откройте того же Пушкина и посмотрите по оглавлению, как год от года сужалась его поэтическая река... Имен-

но Пушкин дает нам, собратьям своим меньшим, наиболее разумный пример перехода к иным жанрам, когда поэтическая энергия истаивает. Проза, критика, драматургия, журналистика, исторические разыскания... Это нормально. Ненормально, если человек, лишившийся поэтической энергии, продолжает складывать в рифму — благо рука набита. В советские времена, когда поэты неплохо зарабатывали, это было просто бедствием, но бедствием вполне объяснимым. Вообразите, вы долго, лет десять, осваивали технику стихописания. Да-да, стихосложению, как и музыке, нужно учиться, пройти через гаммы, сольфеджио. После того как появился опыт и за рифмой не надо гоняться с мухобойкой, приходит время пробиваться в печать, выгораживать свой садово-ягодный участок на Парнасе, тесном, как московское кладбище. Наконец вы пробились, добились, выгородились, вдохнули озон славы, а фонтанчик поэтического вдохновения взял да иссяк... Как? А как высыхает колодец? Еще вчера в нем даже в полдень отражались звезды, а сегодня только сухое дно с ржавыми ведрами, потерянными водоносами.

Кстати, самое время сказать несколько слов о вдохновении. Сегодня почти доказано, что за этой сладостной душевной смутой стоят заурядные биохимические процессы в организме, как стоят они за страхом, вожделением, унынием... Даже выделено особое вещество — пептиды. Не исключаю, что скоро наука предложит людям, страдающим иссякновением вдохновения, какие-нибудь стихоносные пилюли, ведь подарила же она охладелым сладострастникам «Виагру». Я даже могу присоветовать несколько названий для таких таблеточек: «Стиховит», «Лермонтин», «Пегасил», «Байроновский аспирин»... Возможно, скоро такие препараты можно будет покупать в аптеках, но пока еще поэтам — как это было в течение многих столетий — самим приходится изыскивать способы подстегнуть уходящее вдохновение. Серьезная, доложу вам, проблема! Обратите внимание, у каждого поэта множество стихов о том, как он пишет или пытается писать. На профессиональном языке это называется «стихи о стихах». Особенно много их у начинающих. Весь ранний Пастернак — одна сплошная мука творчества. Кстати, разби-

рая давние черновики, я убедился, что тоже в юности писал в основном про то, как трудно мне пишется. Прямо какие-то рыдательные песни раба со стихотворной плантации. В одной «пиесе» я сравниваю свои творческие муки с горем ребенка, обладающего простым грифелем и мечтающего о коробке цветных карандашей.

*Сегодня я совсем большой  
И бьюсь над строчкой каждой.  
И вновь с простым карандашом  
И разноцветных жажду...*

По качеству еле добытых неточных рифм и плохо сколоченному синтаксису чуткий читатель сразу догадается, что автору в ту пору до мастерства было как неандертальцу до цветных фломастеров. Но дорогу осилит идущий.

Конечно, вдохновению чрезвычайно способствует любовь, особенно несчастная. Кушнер написал: «У счастливой любви не бывает стихов, а несчастная их не считает». Видимо, огромная энергия, выделяемая нам природой на продолжение рода и, увы, не востребованная избранницей, пометавшись по организму, выливается в горькие поэтические строки. Например, вот в такие, ахматовские:

*Будь же проклят! Ни стоном, ни взглядом  
Окаянной души не коснусь,  
Но клянусь тебе ангельским садом,  
Чудотворной иконой клянусь  
И ночей наших пламенным чадом:  
Я к тебе никогда не вернусь!*

Или вот в такие, извините, мои:

*Пусть будет так —  
уж коли так случилось.  
Не обещай! Пожалуйста, иди!  
Не полюбился. Ну, не получилось...*

*Все лучшее, конечно, впереди.  
Такой урок запомню я навеки.  
В чужие сани, очевидно, влез.  
А ты давай — вытаптывай побеги,  
Где мог подняться соловьиный лес!*

Помнится, такой мощный протуберанец черного отчаянья, переходящего в женофобию, был связан с тем, что моя девушка не смогла выбраться со мной в кино. На следующий день она смогла, но стихи-то уже вырвались из обиженного сердца.

Особо следует отметить роль алкоголя в поэзии. Сказать, что поэты пьют по иной причине, нежели все остальные граждане, значит слухавить. Любое живое существо имеет к алкоголю имманентное влечение — у моего знакомого был кот-пьяница, скончавшийся от цирроза. Однако в состоянии опьянения ничего путного написать невозможно, хотя в постпортвейной эйфории порой возникает ощущение, что ты наконец-то добрался мыслью до незримых шестеренок бытия и поймал те нетленные идеи, те вечные слова, которые Платон называл, кажется, эйдосами. Иной раз, прежде чем рухнуть в постель, хватает сил нацарапать эти озарения на бумаге. Наутро, морщась от головной боли и разбирая нетрезвые каракули, удивляешься, как могла такая густопсовая банальщина показаться тебе вчера гениальным открытием!

*Вечером Богу сопатку утру,  
Но поутру...*

Тем не менее поэты заметили и взяли на вооружение одно любопытное последствие алкогольной эйфории. После мощного удара по организму в состоянии похмелья происходит некоторое смещение в сознании, мир воспринимается иначе, острее: он странен, многозначен и обнажен. Душе вдруг становятся внятны какие-то связи и приметы, на которые в трезвой повседневности не обращаешь внимания. Замечено, пик творческой активности у поэтов приходится на период после

запой. О эти послезапойные поэты! Сколько я их перевидал... Рубашка свежайшая, костюм, сильно пострадавший во время моральных и телесных падений, тщательно отутюжен. Острый запах одеколona. Лицо просветленное, а взгляд грустно-всепонимающий. И стихи, стихи, стихи... Жаль только, что запои становятся год от года все длиннее, а вдохновенные просветления все короче.

Сергей Есенин, знавший в этом толк, очень точно написал:

*Иль как рошу в сентябрь  
Осыпает мозги алкоголь...*

Подобно многим моим поэтическим сверстникам, я тоже выпивки не избегал. В моих стихах вы без труда отыщете удивленную оторопь, которая накатывает утром, когда ужас от количества опорожненных бутылок сливается с тревожащей новизной ветки, скребущейся о стекло. Кстати, свою первую литературную премию я получил благодаря пьяной драке. Честное слово! Дело было в 1980 году в Кутаиси на фестивале братских литератур. Нахлебавшись незаконного молодого вина, я высказал ехидное замечание о стихах кубанского поэта Юрия Гречко и получил аргументированное возражение в челюсть. Когда мы, рыча, катались по полу под одобрительные крики собратьев по перу, в номер внезапно вошли писательские и комсомольские начальники. «Кто дерется?» — «Поляков и Гречко». — «Из-за чего?» — «Из-за рифмы». — «Ого! Настоящие поэты!» На следующий день жюри обсуждало мой цикл «Непережитое». Кто-то заметил: «Горячий парень! И стихи вроде ничего. Надо поддержать!» Так я стал лауреатом премии имени Маяковского.

Но шутки в сторону. Сколько талантливых людей осыпали мозги гораздо раньше, чем реализовали свои возможности! Среди них и Рубцов, и Шевченко... Впрочем, Бог им судья — сделали они тоже достаточно. Особая статья — поэты, всю жизнь регулировавшие вдохновение алкоголем, а потом резко завязавшие. Они энергичны, четки и неутомимо скучны. Наверное, именно о них когда-то написал поэт-фронтовик Александр Балин, давно умерший:

*Деревянным маслом смазанный,  
Он живет насквозь доказанный,  
Деловой, как телеграф...*

Впрочем, я, кажется, увлекся алкогольным фактором мировой поэзии. Вернемся к вдохновению. Итак, вас только-только начали хорошо издавать — а к пятидесятилетию даже готовится избранное, обычно эдак в двадцать пять листов. Для непосвященных поясню: поэтический лист — это 700 строк. За строчку при советской власти платили в среднем 1 рубль 50 копеек. Теперь умножьте — и вы получите чуть ли не двадцать пять тысяч рублей. По советским временам — сумма огромная! Деньги, согласитесь, — тоже стимул, если не для вдохновения, то хотя бы для работоспособности. Идешь, бывало, по длинному коридору Переделкинского дома творчества, а из-за обитых дерматином дверей доносится клекот пишущих машинок. Сочиняют стихи, как уголь рубят...

Или такой вот случай. Издательство «Советский писатель». День выплаты гонораров за сборник «День поэзии». Длинная праздничная очередь в кассу, ведь так щедро платили разве что за книжки в Политиздате о пламенных революционерах, которые с удовольствием писали будущие диссиденты. Вдруг появляется в долгополой шубе Андрей Вознесенский, растерянный, как схимник, угодивший из кельи на торжище. Он беспомощно озирается, пытаясь понять, куда занесла его нелегкая. «Андрей Андреевич, — весело кричат из очереди. — Вы чего ищите-то?» — «Я? Э-э... тут где-то, кажется, сегодня... выдают...» — бормочет он, явно избегая свинцового слова «деньги». «За “День поэзии”?» — уточняют ожидальцы. «Да... кажется... не помню...» — «Это здесь. Идите сюда! Он здесь уже стоял!» — великодушно лжет кто-то, почти достигший дароносного окошка. Вознесенский смущенно, с интеллигентнейшими извинениями протискивается, снимает енотовую шапку с потной головы и просовывается в амбразуру кассы. «Вы за что получаете, Андрей Андреевич?» — спрашивает бухгалтерша, исполненная значительности, как и все люди при деньгах. «Я?.. Не помню... Кажется, за поэму...

или нет...» Лицо поэта обретает выражение трогательной беспомощности ребенка, забывшего стишок ко дню рождения мамы. «Ага, вот нашла! За поэму. Получите и распишитесь. Одна тысяча двести сорок четыре рубля пятьдесят восемь копеек...» Очередь затихает, уважительно оценивая грандиозный гонорар мэтра. Несколько мгновений в тишине слышно только нарастающее сопение классика, и вдруг раздается его обиженный вопль: «Как это так — одна тысяча двести сорок четыре рубля пятьдесят восемь копеек? — Лицо поэта становится сосредоточенным, как у снайпера. — Это что же, выходит, по рубль пятьдесят за строчку? А мне обещали по рубль семьдесят пять, как лауреату Госпремии! Директор на месте?» — «На месте. Следующий!»

Сейчас времена другие — за стихи почти не платят. Но гальванизация собственного поэтического труда имеет сегодня иные мотивации: гранты, премии, лекционные туры за рубеж... Есть масса мест, где можно заработать и подхарчиться, но при условии, что ты сочинишь стихи — любые. Хоть на уровне дебила, впервые узнавшего, что «стоять-бежать» — это рифма. Очень похоже на пафосные тусовки, куда пускают только в смокингах. Фейсконтролю не важно, купил ты смокинг у Армани или по дешевке взял напрокат изнуренный молью костюмчик. Главное, чтобы бабочка была, где положено. Вот и приходится соответствовать. Кстати, по своей эстетической природе модный ныне концептуализм очень близок к так называемым паровозам советской поэзии.

Объясню: «паровозами» называли стихи, написанные с явно идеологическими целями и, как правило, по социальному заказу. Даже хорошему лирику необходимо было иметь хотя бы несколько «паровозов» — они словно втягивали на страницы периодики весь остальной лирический состав. Впрочем, были и гениальные «паровозы». Есть такое стихотворение «Коммунисты, вперед!». Его сочинил к какому-то партсъезду Александр Межиров. В конце 1980-х он сбил на смерть пешехода и, чтобы избежать наказания, уехал в Америку, где, прожив двадцать лет, умер в доме для престарелых, но похоронили его в Перedelкино. Так вот, поэт, в ту пору баловень советской власти, прочел эти стихи делегатам, сру-

бил свой гешефт и вроде бы концы в воду. Я тоже писал к съезду комсомола стихи. Кто их помнит? Ан нет... «Коммунисты, вперед!» остались. Более того, это одно из самых мощных по энергетике стихотворений в русской поэзии XX века. Читая межировские строки, понимаешь, почему «красная идея» победила фашизм и преобразила «избяную Русь»:

*Есть в военном уставе такие слова,  
На которые только в тяжелом бою,  
Да и то не всегда  
Получает права  
Командир, поднимающий роту свою...*

Но такие удачи на «идеологическом направлении» в редкость. Чаще в рифмованный агитпроп уходят те, кто лишился лирической энергии, свежего восприятия мира. Сколько таких рифмующих солдат партии я насмотрелся в молодости. Прочитав утром передовицу в «Правде», они вечером несли в редакцию стихи, где было все, кроме поэзии. Сегодня, лишившись того же самого (а природа творчества от социальной системы не меняется), поэт уходит в интертекстуальное пересмешничество или конструирование смыслов, не имеющих ничего общего с литературой. Когда человек уже не может писать просто про любовь или просто про ненависть, он начинает писать про свою любовь или ненависть к коммунизму, России или, скажем, к Америке. С точки зрения политики он, может быть, очень нужный человек, с точки зрения поэзии — просто зомби.

### 3. Цветы неизбежности

Сочинять стихи я начал в школе, классе в восьмом. Уже и не помню, о чем были мои первые строчки. Но это легко вычислить, так как особым разнообразием тематики начинающие поэты не отличаются. Как правило, с большим или меньшим успехом, стартуют в трех направлениях, пытаюсь выразить самые сильные свои чувства. Прежде всего — это



любовь и все состояния души, ей сопутствующие: восхищение, надежда, тоска, отчаянье, ревность, вожделиние... Кто хоть раз пытался высказать трепет сердца в поэтических строчках, тот знает, как это испепеляюще трудно. Такое ощущение, словно пытаешься сработать античную камею с помощью зубила. Хочется сказать про любимого человека нечто особенное, небывалое — и юный, удрученный заурядностью повседневных слов поэт начинает выражаться метафорически. А это непросто.

С коварством метафоры я столкнулся рано. Классе в пятом мне очень нравилась девочка по имени Шура Казаковцева. В особый трепет меня приводили ее глаза — большие, карие. И вот как-то на уроке пения я решил поведать о своих чувствах. Набрался храбрости и шепнул ей на ушко: «Знаешь... А у тебя глаза как шарики с Казанки...» Ответом мне был взор, полный негодования. Объяснюсь: мы, мальчишки, таскали с товарной станции Казанской железной дороги, проходившей недалеко от нашей школы, стеклянные шарики диаметром сантиметра три. Шарики были двух цветов — зеленого и медово-янтарного. Очень красивые! Каково было назначение этих шариков, до сих пор не знаю, скорее всего что-то оборонное. Но наряду с марками, этикетками и прочей мальчишеской важной чепухой они являлись стихийной валютой моего детства. Наверное, именно тогда, окаченный ледяным взглядом Шуры, я понял: для глубокого поэтического сравнения одного внешнего сходства маловато. Кому же понравится, если твои глаза уподобляют каким-то там стекляшкам с Казанки?..

Другая обычная тема для начинающего поэта — восторг перед красотами природы. Знакомая ситуация: бывалый до циничности гражданин, оказавшись, например, на берегу дымящегося утреннего озера или взглянув на звездное небо, чувствует вдруг некое поэтическое шевеление в душе и сокрушается: «Эх, ну почему я не сочиняю стихи?» Но если обычный человек просто чувствует шевеление, то начинающий поэт хочет выразить это шевеление словами. Я тоже пытался. Одна из моих первых попыток выглядела следующим образом:

*Словно обломок империала,  
Сломанного на пари,  
В небе луна застряла  
И горит...*

А согласитесь: не так уж плохо — сравнить ущербную луну с половинкой золотой монеты, сломанной кем-то неведомым и могучим... Но остановиться на достигнутом никак нельзя, и меня повело дальше:

*Горит, бросая потоки нежности  
В пустоту...  
Скоро, скоро цветы неизбежности  
Зацветут...*

«Какие цветы, какой неизбежности?» — спросите вы. А черт их разберет... Наверное, начитался символистов. Вообще поначалу поэт как бы плутает среди чужих образов, интонаций, ритмов. Иногда так всю жизнь и плутает, а после смерти получает обидное прозвище «эпигон», хотя именно эпигоны живут легче и веселее настоящих поэтов. Они, как шкодливые шакалята, поедают остатки не ими заваленного буйвола. Но это метафора... В жизни эпигоны, напротив, чрезвычайно значительны, солидны, любят заседать в президиумах, они увешаны премиями до пят, обласканы критикой, которая, кстати, всегда путает эпигонство с классичностью, а новаторство с шутовством.

В литературе остаются, конечно, только настоящие писатели. А вот в истории литературы эпигонов пруд пруди. Зайдите в Камергерский переулок и посмотрите сначала на щедедушного бронзового Чехова, а потом на монументально-Николая Асева, суровым орлом смотрящего с большой мемориальной доски. Теперь вообразите, что Москву, как Помпею, чем-то, не дай бог, засыпало. Через тысячу лет потомки раскопали Камергерский переулок и наткнулись на эти два мемориальных осколка великой некогда литературы, чьи тексты давно утрачены. Кого потомки сразу же вообразят главным русским писателем? Ну конечно же, Асева. Чехов-

ское изваяние они скорее всего примут за надгробие какого-то литературного неудачника...

Есть еще одна тема, волнующая поэтов: смерть. При советской власти она не приветствовалась. Атеисты вообще стараются реже думать о небытии, хотя это и не всегда получается. И я, будучи по воспитанию советским юношей, пытался в стихах примирить оптимизм позитивиста с тоской биологического существа, обреченного на распад и исчезновение:

*Поговорив о том, другом и третьем  
С приятелем моих примерно лет,  
Мы стали разговаривать о смерти.  
Зловеще-занимательный предмет!  
Шла речь о том, что траурного крепа  
Не утаить за контуром вещей,  
О том, что это, в сущности, нелепо,  
Пожив, уйти из мира вообще.  
О том, что мы воскреснем в наших детях,  
В делах, томах и шелесте берез,  
Еще о том, что утешений этих  
Никто пока не принимал всерьез.  
Шла речь о том, что, видимо, не скоро  
Нетленность с плотью будут сочетать  
И что, увы, о смерти разговоры  
За малодушье принято считать.  
Постыдного не вижу в этой теме.  
Страх смерти — это  
самый смелый страх.  
Поговорим о смерти, чтобы в темень  
Сойти с улыбкой мудрой на устах!*

1981, 2014

Несмотря на сдержанный оптимизм концовки, эти стихи так и остались в черновиках, хотя я несколько раз вставлял их в мои книги, но редакторы упорно изымали, объясняя с грустной улыбкой: «непроходняк». «Неформат» — в переводе на сегодняшний язык. Тем не менее попадались при

старом режиме поэты, с головой погруженные в эту мрачную тему. Однажды, в конце 1970-х, я и Леонид Латынин, сотрудник журнала «Юность», были откомандированы в московскую школу на встречу с учащимися, кажется, третьеклассниками. Увидев за партами мелюзгу (октябрят попеременно с пионерами), я стал читать им свои школьные стихи и рассказывать, как носил за девочкой Шурой портфель, а друзья надо мной посмеивались... Но вот настала очередь Латынина, он мрачно посмотрел на почти младенческие мордашки и сказал: «Ребята, вы, конечно, еще дети, но умирать с возрастом придется и вам. Поэтому я, так сказать, на вырост, прочту вам цикл стихов о смерти!» И стал декламировать, подвывая, как кладбищенский пес. Пионеры, тем более октябрята, ничего не поняли, а две учительницы, нас сопровождавшие, лишь переглядывались в беспомощном недоумении и по завершении урока даже не угостили традиционным чаем с конфетами. Но Леонид был счастлив: видимо, в иных аудиториях читать стихи о смерти ему совсем не позволяли, и он, как говорится, оторвался. Сегодня, наткнувшись в интернете на комментарии Юлии Латыниной о нашей кошмарной жизни, от которой надо бы проклясть Россию и повеситься, я почему-то вспоминаю ее батюшку и его цикл о смерти, обращенный к советской детворе.

И наконец, четвертый источник вдохновения — патриотизм. Да-да, я не оговорился. Даже теперь, когда любовь к Отечеству служит объектом насмешек и издевательств телевизионных хохмачей, это исконное чувство живет, притаившись, в душах большинства людей. Нелюбовь к своему Отечеству — вид нравственного заболевания, причем страсть к сочинительству — одно из осложнений, сопутствующих этому серьезному недугу. Классическая история такой болезни — творчество Дмитрия Быкова. Литераторы его склада и направления испытывают к стране обитания примерно те же чувства, что пассажир, который ошибся поездом и в ужасе узнал, что ехать теперь придется до конечной станции, да еще с неприятными попутчиками, а ему — в обратную сторону...

Тем не менее патриотизм — чувство древнее, уходящее корнями в детство человечества. Вот архантропа рано утром

разбудила назойливая летучая мышь. Он открыл глаза, потянулся, оглядел родную пещеру, похрапывающих во сне соплеменников, мосластые останки вчерашнего ужина и — сердце его наполнилось необъяснимой теплотой, а бессловесные пока еще мысли сложились в восторженные образы, которые на наш современный язык можно было бы перевести так:

*Широка, тепла моя пещера!  
Много в ней друзей, костей и шкур...*

Шутка...

В 1980-х на радио я вел поэтический клуб «Березка», ко мне приходили тысячи писем от начинающих поэтов со всех уголков необъятной нашей страны. В этих письмах были стихи на самые разные темы, но больше всего — о любви к Родине. Многие, увы, напоминали рифмованные передовицы газеты «Правда», и в ту пору меня это страшно раздражало. Но теперь, поумнев и пережив разгром страны, я думаю, что государственная пропаганда, навязывающая гражданам любовь к своей стране, это — при всех издержках — все-таки гораздо естественнее, нежели агитпроп, воспитывающий в людях неприязнь к собственной Державе. Дорогие молодые поэты, пишите стихи о любви к Родине! Не бойтесь «либеральной жандармерии». Не стесняйтесь своего чувства! Это нормально и даже необходимо. И пусть вас не смущает раздражение тех, кто едет в чуждом поезде. Они вам не попутчики...

#### 4. Зачем вы пишете стихи?

Путь советского юноши, заболевшего стихами, был предрешен. И путь этот лежал через литературные объединения, которых в ту пору было несметное множество. Без преувеличения вся страна была покрыта густой сетью этих самых объединений. Они организовывались при заводских многотиражках, горкомах комсомола, писательских организациях, домах культуры. Их двери были гостеприимно распахнуты и для поседелого графомана, и для желторотого гения.

Я и сам вел как-то литературный кружок при маргариновом заводе, где молоденькие фасовщицы смущенно показывали мне такие вирши:

*Ты меня целовал и в кусты поволок,  
А в кино пригласить почему-то не мог!*

Однако обычно в литобъединение начинающий поэт попадал не сразу. Сначала он должен был убедиться в том, что литературный мир жесток и несправедлив. Как только у юного сочинителя скапливалось несколько, по его мнению, замечательных стихотворений, он всеми правдами и неправдами находил доступ к пишущей машинке. Да, доступ! Это сейчас на каждом шагу компьютеры да принтеры, а вот в 1970 году я ехал через всю Москву к моей тете Вале, служившей секретарем-машинисткой в Главторффе. Она, отрываясь на бесконечные звонки и вызовы начальства, печатала мои первые стихи на казенной пишущей машинке. Помню, друг моей литературной молодости Игорь Селезнев, претендовавший на роль лидера поколения, а потом исчезнувший, познакомил меня с юным поэтом Олегом Хлебниковым, который впервые приехал из Ижевска в Москву. Он был в отчаянье: привезенные отпечатанные экземпляры стихов мгновенно окончились, а множество столичных редакций остались еще не охваченными.

Я выслушал жалобы провинциала и повел его к тете Вале с той особенной гордостью, с какой сегодня ведут поиздержавшегося друга к родственнику-банкиру. Она, конечно, стихи перепечатала, а Хлебников вскоре стал первым в нашем поколении поэтом, издавшим книгу. В 19 лет! По советским понятиям: сверххранний дебют. Его открыл, выделил и всячески продвигал тогдашний секретарь СП СССР по работе с молодыми блокадник Олег Шестинский, талантливый смолоду поэт и баловень советской власти. Недавно я наткнулся на интервью Хлебникова. Он дал его в связи с 60-летием и очень подробно рассказал о своем дебюте. Но про Шестинского ни словечка. Как не было. Очевидно, сотруднику ультралиберальной «Новой газеты» неловко признать, что путевку в поэзию ему дал «литературный генерал»

эпохи застоя. Увы, в нашем мире забывчивость и неблагодарность обычное дело.

Но я недолго пользовался услугами тети Вали. У меня появилась своя множительная техника. Первой моей машинкой стал списанный с баланса маргаринового завода, где работала моя мама, реликтовый «Рейнметалл». Его огромная каретка возвращалась по окончании строки на место с таким грохотом и мощностью, что вполне могла бы использоваться в качестве стенобитного агрегата.

Итак, вы молодой поэт, впервые держащий в руках собственные стихи, отпечатанные на машинке. Покуда строчки, черканные-перечерканные в творческих муках, таятся в тетрадке, это остается вашим личным, интимным делом. Теперь же, когда четверостишия выстроились на бумаге, как парадные полки на Красной площади, вы вдруг осознаете, что просто не имеете никакого права и дальше скрывать от общества плоды ваших первых вдохновений! Вы чувствуете себя почти профессионалом, вкладываете стихи в конверты и отправляете сразу в несколько адресов — в «Литературную газету», «Юность» или «Новый мир»... Письма, конечно, должны быть заказными, и, заплатив деньги, вы еще несколько минут стоите у окошечка, наблюдая, не забудет ли почтовая девушка положить ваш конверт в нужную кучку. А то ведь не дойдет заказное до адресата — и та же редакция «Нового мира» не будет через неделю потрясена открытием нового ярчайшего таланта.

В том, что редакция будет потрясена, вы ни минуты не сомневаетесь. И не потому, что глупы или необразованы. Я встречал докторов наук и высокоумных людей, пишущих в рифму несусветную чушь. Например, своей беспомощностью меня удивили стихи академика-филолога В. Иванова, да и С. Аверинцев, прямо скажем, дальше каботажного плавания в море поэзии не углублялся. И дело не в уме или образованности. Поэт в принципе, а в период становления особенно, не может оценить написанный им текст, он оценивает лишь тот упоительный замысел, то «приближение звука», которое подвигло к сочинительству. И, перечитывая готовые строчки, автор видит не плачевный результат, а свое прекрасное намерение.

Чтобы стало понятнее, приведу пример. Вечер у друзей. В углу сидит скромная милая девушка с печальным взглядом. Вы приглашаете ее на танец. Она встает, кладет вам руку на плечо, и вы кружитесь, кружитесь, кружитесь в фантастически красивом танце, ваши тела вздрагивают от случайных соприкосновений, а аромат, исходящий от ее волос, пьянит вас сильнее вина... Вы еще долго потом вспоминаете тот вечер! Затем ваш друг приносит кассету — он, оказывается, тайком записал все это на видеокамеру. Вы вставляете кассету в магнитофон и — о ужас! Развязный лысеющий гражданин с животиком неуклюже подваливает к юной деве, потом долго топчется, наступая бедняжке на ноги, а она, страдалица, все время норовит отвернуть свой тонкий носик в сторону. Ну конечно, перед ангажементом на танец вы для храбрости маханули рюмаху, закусив ее селедочкой с луком...

— И это — я?! — в ужасе восклицаете вы.

Да, это — вы!

Полагаю, растолковывать нехитрую аллегорию нет необходимости. Добавлю: никакой поэт никогда не может оценить свои стихи совершенно объективно. Я с этим часто сталкивался в редакторской или составительской практике. «Старик, делаем антологию, неси пять лучших стихотворений! Лучших. Понял?» — «Понял». И он действительно понял, будет сидеть полночи, мучиться и отбирать, отбирать и мучиться... В результате принесет пять худших или вообще никаких стихотворений. И в этом смысле прав Пастернак, обмолвившийся:

*Но поражение от победы  
Ты сам не должен отличать...*

В противном случае вместо головокружительных пиков поэтических побед мы бы имели утомительное плато.

Но вернемся к отправленным письмам. Через неделю вы начинаете нервно заглядывать в почтовый ящик. Странно! По вашему твердому убеждению, потрясенный «Новый мир» должен откликнуться немедленно. Но где же ответ? Его нет. Нет через месяц. Нет и через полгода. Вы жалуетесь кому-то из опытных знакомых, и тот радостно объясняет, что ждете



вы совершенно напрасно, ибо в журналах работают исключительно злодеи и завистники (это отчасти верно) и они никогда ваши стихи не напечатают. Из зависти к таланту. Такое объяснение немного успокаивает, но как-то ночью вы просыпаетесь от страшного подозрения, а наутро бежите в библиотеку читать «Юность» и «Новый мир». Так и есть! Какой-то опубликованный поэт имярек пишет, что «у лета крылья махаона», а у вас было:

*Вокруг ошалевшее лето  
На крыльях стрекозьих парит...*

Обокрали! Как тут не вспомнить изумительное стихотворение в прозе Тургенева про поэта Юлия, укравшего строчки Юния и тем прославившегося! Но вот через год, уже потеряв всякую надежду, вы лениво лезете в ящик за утренней газетой и обнаруживаете большой конверт с логотипом «Нового мира». А в нем все ваши стихи, исчерканные красным карандашом, и короткая рецензия, смысл которой обычно один и тот же: хорошо, что вы сочиняете стихи, а не пьете горькую, но вам еще много нужно над собой работать. «...Вот, например, у вас написано:

*И, нюхая букет еще вначале,  
Ты думала, Инесса, о конце...*

О каком именно конце думала Инесса? И не кажется ли автору, что следует осторожнее пользоваться великим и могучим?..» — «Мерзавец! — возмущаетесь вы. — Неужели он не понимает, что речь идет о трагической предопределенности любви!»

Все он, мерзавец, доложу я вам, понимает, но с концом вы и в самом деле погорячились. Далее в рецензии непременно сообщают, что «возьми» и «позови» не рифма, а «любовь» и «вновь» — рифма, но за нее в приличном литературном обществе могут набить морду. Мало того, у вас непременно отыщут строчки с так называемыми неприличными «зияниями». Например:

*Когда ж опали наши розы,  
Вас укачал полночный поезд...*

В заключение рецензии неперменный совет: «А идите-ка вы, юноша, в ближайшее литературное объединение!» И подпись, допустим, литературный консультант, например, Шилюбреев.

— Как Шилюбреев! — восклицаете вы. — Да я же читал его стихи. Он же графоман! Он сам не умеет писать... Мафия...

Обычно на первой, зубодробительной, рецензии ломается добрая половина начинающих, отсеивается, уходит в иную, бесстиховую жизнь. Но другая половина, превозмогая обиду, не отказывается от мечты и выясняет адрес ближайшего литературного объединения.

Я оказался во второй половине.

Все это я пишу со знанием дела, ибо в свое время получал очень похожие рецензии. Особенно запомнился мне своей зубодробительностью ответ, кажется, из «Студенческого меридиана», подписанный Владимиром Шленским — автором замечательной песни «Ах, необыкновенное танго послевоенное!». Впоследствии мы подружились и поддерживали отношения до самой его внезапной смерти в середине 80-х. Он был благороден, занимая деньги, никогда не брал больше трех рублей (стоимость бутылки водки с плавленым сырком), объясняя: «Все равно не отдам!» Однажды, выпив в ЦДЛ, я мстительно напомнил о его уничижительной рецензии. Он пожал плечами, мол, не помню, знаешь, сколько у меня вас было! Это называлось работать «на заруб». Заведующий отделом поэзии вываливал внештатному рецензенту кипу подборок и говорил коротко: «На заруб». За каждый «заруб» рецензент получал, кажется, десятку и ходил, что называется, по локоть в крови начинающих поэтов. Но с другой стороны, на десятку в те времена можно было гулять в ЦДЛ до глубокой ночи.

Как правило, рецензенты даже не вчитывались в тексты, выискивали орлиным взором несколько ляпов, благо их хватало, и рубили сплеча. Впрочем, бывали исключения. Например, поэт Илья Фаликов в довольно сдержанной рецензии на мою рукопись стихов где-то в середине 70-х обмолвился, что, по его мнению, Поляков скоро перейдет на прозу. Вчитался...

Сегодня со всей прямоотой могу сказать: рецензенты зарубили мои первые стихи справедливо — это было беспомощное ученичество, хотя какие-то строчки отмечались как удачные. Например, у меня имелся длинный-предлинный рифмованный диалог поэта с самим собой о том, зачем он, дескать, пишет стихи. Начинался диалог так:

*— Зачем вы пишете стихи?  
Вы что же думаете, строки  
Умеют исцелять пороки  
И даже исправлять грехи?  
Зачем вы пишете стихи?..*

Вообще любимое занятие начинающего поэта, как сказано выше, поразмышлять о тайнах творчества, в которых он ни черта еще не смыслит. «Стихи о стихах» — бич юных поэтов, за что их корят рецензенты и наставники. Мой диалог поэта с самим собой тоже был подвергнут решительной критике, некоторое снисхождение заслужили лишь первая и последняя строфы:

*— Ну хоть один от ваших виршей  
Стал добродетельней и выше?  
Скажите прямо, не тая!  
— Один? Конечно! Это — я.*

Их-то я и оставил. Пожалуй, это единственное из моих юношеских стихотворений, которое я включил в первый и последующие сборники. Но вернемся к судьбе молодого поэта, ошарашенного первыми рецензиями на его вирши.

## 5. Говорящие рога

Переболев обидой, я внял совету и отправился в литературную студию при Московской писательской организации и горкоме ВЛКСМ. Кстати, устроиться туда было не

просто, но я еще в школе был комсомольским активистом и завел кое-какие связи в верхах. А поэтам, как инвалидам, начальники помогают охотно. Меня взяли. Располагалась студия почему-то в Доме политпросвещения на улице Володарского, ныне Гончарной. Семинары там вели крупнейшие тогдашние поэты, прозаики, драматурги, критики, переводчики: Евгений Винокуров, Борис Слуцкий, Алексей Арбузов, Юрий Трифонов, Александр Рекемчук... Даже студенты Литинститута бегали к нам «обсуждаться», считая, что у нас уровень повыше.

Я попал в семинар Вадима Витальевича Сикорского — поэта, может быть, и не крупного, но чрезвычайно профессионального и образованного. Он был из литературной семьи, дружил с сыном Марины Цветаевой Муром, пропавшим на войне. Ему же судьба назначила вынимать в Елабуге из петли великую Марину. Сикорский был высок, плечист и с орлиным интересом поглядывал на юных поэтесс. Будучи опытным бильярдистом, мэтр часто с гордостью говорил нам: «Я первый кий Союза писателей!». — Причем слово «кий» произносил с неким не совсем бильярдным оттенком. Женат он был неоднократно и всю жизнь втайне писал эротико-антисоветский роман «Дикомерон».

В нашем семинаре собралось десятка два начинающих поэтов и поэтесс, не считая нескольких обязательных в таком месте рифмующих шизофреников. Кто-то так потом и сгинул без всякого литературного результата, но многие стали настоящими профессионалами. Иных уже нет в живых. Признанный лидер нашего семинара Ефим Зубков, автор песни про пароход детства, повесился в 1976 году в собственном туалете. Его строчку про женские ноги, прорастающие в весенней толпе, отметил Вознесенский. Замечательный и явно недооцененный поэт Евгений Блажеевский, любимец Сикорского, умер от водки в конце 1990-х. Многие помнят его стихотворение «По дороге в Загорск», ставшее романсом:

*И слова из ромansa «Мне некуда больше спешить»  
Так и хочется крикнуть в петлистое ухо шофера.*

Один за другим ушли уже в новом веке — Александр Щуплов, Валерий Капралов, Юрий Чехонадский, Владимир Нежданов, ставший священником, но до конца земной жизни не забывший поэзию. Отец Владимир много лет был постоянным автором «Литературной газеты». Традиционно к Светлой Пасхе он публиковал у нас стихи, стал лауреатом нашей премии «За верность Слову и Отечеству» имени Антона Дельвига. И вот отец Владимир ушел в горный мир, в который искренне верил сам и учил этой вере других. Предчувствием грядущего спасения исполнены многие его стихи. Вот одно из них:

*Просто так мы себя не спасем.  
Значит, будем работать по силе.  
Крест, который по жизни несем,  
Станет позже в ногах на могиле.  
Крепко веруем: он вознесет  
Из земли наше брненное тело.  
Крест из праха до неба растет,  
Достигая иного предела...*

Но еще активно трудятся на различных литературных нивах Александр Буравский, Наталья Сидорина, Игорь Селезнев, Владимир Вишнеvский... Это все наш семинар! Поколение... Кстати, я учился в ту пору на литфаке Областного пединститута имени Крупской. На одного парня приходилась дюжина девушек, будущих учительниц. Ностальгически вспоминая те времена, я лишь изумляюсь, что за все годы обучения так и не завел на курсе ни одного романа. Давно замечено: коренные обитатели прибрежных курортов редко купаются...

Из шестерых моих однокурсников трое стали известными литераторами. Ну, про меня вдумчивый читатель и сам, очевидно, догадался. Назову также Александра Трапезникова, хорошего прозаика, сочинявшего в ту пору странный сюрреалистический роман про говорящие рога. А еще нельзя не упомянуть Тимура Запоева, который известен ныне любителям поэзии как поэт-концептуалист Тимур Кибиров. Помню,

он всюду ходил с томиком Блока из Библиотеки всемирной литературы и сочинял что-то грустно-символическое, но в общении с товарищами был чрезвычайно ехиден. Когда, много лет спустя, я узнал, что он сменил свою изумительную, Богом данную фамилию на рахат-лукумный псевдоним, то был поражен. Ведь тот же Николай Глазков, из которого, по сути, и вышел весь наш отечественный «концептуализм», отдал бы половину своей печени за фамилию «Заповев». Всю печень, конечно, не отдал бы, так как был человеком серьезно пьющим.

Кстати, поэт-сатирик Владимир Вишневский учился на нашем же факультете, но курсом старше и сочинял вполне лирические стихи под Рождественского, например, про мальчика, подающего во время футбольного матча мячи. На самом деле он, разумеется, имел в виду себя, начинающего поэта, который еще всем покажет. И показал!

Есть такое выражение в театре «Актер Актерыч». Так называют человека, который всем видом старается подчеркнуть свою причастность к сцене, говорит утробным голосом, а ходит наподобие тени отца Гамлета. Вишневский вел себя как заправский Поэт Поэтыч. В разгар студенческой пирушки он мог вдруг погрузиться, уйти в уголок, достать хорошенький блокнотик, сувенирную авторучку и, ощущывая взыскующим взором пустоту перед собой, заняться сочинением стихов. «Володя, рюмку пропустишь!» — звал кто-то неосторожный. Но на него сразу шикали: «Тсс! Человек стихи пишет. Не видишь, что ли?» Я всегда царапал набежавшие строки на клочках бумаги, терял, горевал об утратах и завидовал, глядя на Володин блокнотик. После института мы довольно долго поддерживали отношения. Но, как и большинство юмористов, обсмеивающих все, что шевелится и даже умерло, Вишневский не переносил остроты в свой адрес. Как-то, представляя его на большом вечере в ЦДЛ, я сказал: «Чехов утверждал, что краткость — сестра таланта. Выступает брат таланта — Владимир Вишневский!» Я-то имел в виду его стихи в одну строчку вроде «Давно я не лежал в Колонном зале». Но он понял по-своему, обиделся — и наши пути разошлись.

Но если в Вишневском тогда невозможно было угадать будущего смехача корпоративов, то я в ту пору как раз отдавал предпочтение пародиям и стихотворному юмору:

*Теперь дома особенные строят:  
Я слышу, как внизу бифштекс горит,  
Как наверху кого-то чем-то кроют  
И как «звезда с звездой говорит»...*

— «С звездой...» — плохо. Не выговоришь: «сзв», — наставительно заметил Петр Вегин, прочитав эти строчки в «Московском комсомольце».

— Так у Лермонтова... — робко возразил я.

— У классиков надо брать только хорошее!

Роясь в своем архиве, я отыскал полдюжины пародий, показавшихся мне достойными, чтобы опубликовать их спустя сорок лет в первом томе собрания сочинений. Кажется, они стали даже смешнее, чем в момент написания. Так бывает... Кстати, подражание, переходящее в пародирование, — обычный путь стихотворного ученичества, ибо, смеясь, с прошлым расстается не только общество. Смеясь, пародируя, ерничая, молодой поэт расстается со школярством, с зависимостью от литературных авторитетов, осваивает чужую стилистику, учится замечать дурновкусие у других, а потом и у себя. Некрасов писал: «И скучно, и грустно, и некого в карты надуть...» Дурачился. Но ведь он написал еще и «Русских женщин», и «Кому на Руси жить хорошо»... Если бы мне кто-нибудь тогда, в студенческие годы, предсказал, что игра со знаменитыми цитатами лет через двадцать станет основным содержанием поэзии и будет называться «постмодернистской интертекстуальностью», я бы просто рассмеялся. Молодая литературная компания всегда живет пересмешиничеством, розыгрышами, дурачествами, буриме, эпиграммами, но делать из этого профессию, объявлять эстетической школой — нелепость. Точно так же утренние пробежки для растряски живота можно объявить большим спортом. Допустим, объявили. И что?

В начале минувшего столетия поэзия была полноправной соучастницей грандиозного цивилизационного слома, рус-

ской революции, изменившей мир. В лучшую или в худшую сторону — другой вопрос. Достаточно вспомнить Блока, Маяковского, Есенина... В конце XX века не менее грандиозный катаклизм поэзия (не вся, конечно, но в основном) проихихкала и пробалагурила. Неисповедимы пути Слова! Можно, конечно, упрекать поэтов, хотя, возможно, эпидемия иронизма — на самом деле не что иное, как реакция на ненужность этого катаклизма. Или же наоборот: иронизм — это страшная гниль, которая стремительно сжирает несущие конструкции общественного устройства. Не знаю... Я сам начинал свой литературный путь, будучи настроен весьма ернически, да и по сей день сохранил насмешливый взгляд на мир. Однако люди, бурно потешавшиеся в конце века над происходящим в стране, лично мне не симпатичны. В августе 1991-го я встретил на Гоголевском бульваре приятеля литературной молодости Леонида Бежина. Он был в кепке с помпоном, яркой праздничной куртке и клетчатых штанах.

— Ты чего такой хмурый? — весело спросил приятель.

— Страна гибнет... — ответил я.

— Брось! Ты писатель, смотри на все со стороны. Вокруг столько интересного, странного, смешного. Будет о чем писать...

— А страны-то не будет.

— Значит, так Богу угодно...

Больше с этим улыбчивым богомолем я всерьез не общался.

## 6. Избиение младенца

Однако вернемся в Дом политпросвещения на улице Володарского. Главный смысл семинара состоял в том, чтобы научить нас даже не писать, а понимать стихи. Чужие стихи понять и оценить гораздо проще, чем свои. Владимир Николаевич Соколов как-то раз очень точно заметил: «Свой стиль у поэта появляется не тогда, когда он понимает, как должен писать, а тогда, когда он понимает, как писать не должен». Оказавшись в кругу себе подобных, осознаешь: несмотря на



свою талантливую исключительность, ты совершаешь те же самые ошибки, что и остальные сочиняющие граждане. А заметив двусмысленные «концы» в строчках товарища, начинаешь иначе воспринимать собственные сочинения.

Занятия семинара проходили так. Назначался «виновник торжества». Допустим, выбор падал на тебя. Заранее размножив свои стихи сам или с помощью дружественной машинистки, ты раздавал подборки товарищам по семинару, а первый экземпляр вручал, разумеется, руководителю. И трепетно ждал своей очереди... Ты уже знал, чем заканчиваются такие обсуждения, но верил: с тобой все будет иначе! Семинар просто содрогнется от открытия небывалого таланта, на руках тебя качать, наверное, не будут, но все-таки...

И вот наступает мой день «Ч». С утра меня трясет и лихорадит, или, как говорит нынешняя молодежь, плющит и колбасит. Домашние встревожены: «Юра, что случилось?» Я отшучиваюсь. Ну как, в самом деле, признаться, что ты ждешь и отчаянно трусишь предстоящего семинарского обсуждения, предназначенного стать твоим звездным часом?! В последний раз, запершись в туалете, я, профессионально завывая, репетирую чтение лучших моих стихов. Таких, например:

*Мелким дождиком неистребимым  
Обернувшись, как целлофаном,  
Одинокие грозди рябины  
Иступленно зацеловал он...*

Ну, разве это не гениально? А рифма? Какая рифма — Маяковский отдыхает... Все будет хорошо.

— Кто у нас сегодня? — спрашивает Сикорский, окидывая зал взором усталого патологоанатома.

И вот я на трибуне. Да, забыл сказать: мы занимались в конференц-зале, где имелась роскошная могучая трибуна, очевидно, для политических просветителей с их нудными докладами. В креслах — коллеги по литературному цеху. Одни смотрят ободряюще, мол, держись, старик! Это соратники и друзья. Другие поглядывают с чувством явного эстетиче-

ского превосходства. Это литературные недоброжелатели и соперники. Все как в большой словесности! А откуда-то из самого уголочка шлет взоры, полные нежности и восхищения, некая милая девушка. Это — моя девушка. Она знает все мои стихи наизусть, восхищается ими еще больше, чем я сам, и пришла сюда, чтобы разделить мой триумф.

— Ну-с, начнем! — объявляет Сикорский.

Я ощущаю во всем теле праздничную невесомость и начинаю. Мэтр внимательно слушает, что-то помечая на полях рукописи, а иногда после какой-нибудь особо удачной, на мой взгляд, метафоры отрывается от текста и смотрит на меня с картинным удивлением, словно я трамвайный «заяц», предъявивший ему, контролеру, вместо билета бланк анализа мочи. (О, этот взгляд я запомнил навсегда!) По количеству таких «изумлений», если понаблюдать из зала, можно предугадать результаты обсуждения, а точнее — показательной порки.

Странное чувство испытываешь, выходя читать стихи залу. Еще минуту назад ты был абсолютно уверен в своей гениальности, но, увидев устремленные на тебя глаза слушателей, вдруг осознаешь, что ты, идиот, совершенно напрасно вознамерился морочить людей своей рифмованной белибердой. Освищут, зашикают — и поделом. Нет, еще хуже: реагируют мертвым, ледяным молчанием. Впервые я читал стихи публике на каком-то студенческом празднике в переполненном актовом зале МОПИ имени Крупской. Это были пародии. Я сочинил «Мартовский триптих», пытаюсь представить, как могли бы написать про весенних котов Асадов, Евтушенко и Вознесенский — в те годы популярные до невменяемости. За несколько минут до выхода я решил еще раз проверить себя и шепотом прочитал пародии какому-то слонявшемуся за кулисами старшекурснику.

— Чепуха! — констатировал он, выслушав. — Не позорься!

Тут меня объявили, я побрел на сцену, как на казнь, и за чем-то начал декламировать... Зал смеялся и долго мне аплодировал.

— Здорово! — похвалил потом тот же старшекурсник, поймав меня, окрыленного, за кулисами.

Счастье публичного признания можно, наверное, сравнить только с восторгом обладания прекрасной женщиной, еще недавно недоступной, а вот теперь нежно и покорно трепещущей в твоих объятьях...

Но вернемся в Дом политпросвещения. Я заканчиваю чтение стихов и на ватных ногах возвращаюсь в зал, друзья ободрающе пожимают мне руки, литературные недруги иронически усмеваются, а взор девушки обещает мне все, о чем только может мечтать молодой поэт.

— Ну-с, — предлагает Сикорский, — прошу высказываться. Кто у нас первый оппонент?

— Я! — с тихой улыбкой расчленителя-извращенца встанет и идет к трибуне один из моих лютых литературных недругов.

И начинается Великое Избиение Поэтического Младенца. Никто лучше собратьев по перу не видит твоих огрехов и никто не умеет так глумиться. Все у меня не так: и ритм, и рифма, и настроение, а моими сравнениями и метафорами не стихи инструментовать, а забивать сваи в вечную мерзлоту.

— Ну что это такое: «Мелким дождиком неистребимым обернувшись, как целлофаном, одинокие грозди рябины иступленно зацеловал он»?! Почему целлофаном, а не полиэтиленом? — вопрошает оппонент.

Зал хихикает. Я скрежещу зубами, ибо гордился рифмой «целлофаном — зацеловал он». Это удар ниже пояса. Общеизвестно, что ради рифмы в стихи не то что целлофан — тринитротолуол притащишь... Вот сволочь!

— Почему у тебя дождик «неистребимый», а грозди «одинокие»? Это неточно. Эпитеты случайные.

— Не случайные! — вскакиваю я.

— Случайные!

— Почему?

— Потому. Ходасевича надо читать! — бьет он наотмашь.

Полузапрещенного в то время Ходасевича я, конечно, не читал, в чем, наивный осел, как-то признался товарищам в курилке. Ему, гаду, хорошо: у него папа в АПН служит и наверняка таскает в дом весь «тамиздат». А мне, отпрыску рабочего семейства, где взять?

— «Исступленно зацеловал он» сказано не по-русски, — продолжает избиение так называемый оппонент. — Можно исступленно целовать. Исступленно зацеловать нельзя.

— Можно! — снова вскакиваю я.

— Нельзя.

— Можно!!

— Нельзя...

Все смотрят на Сикорского.

— Нежелательно, — вздохнув, отвечает он.

— Но все эти «огрехи» — ерунда... — замахивается для смертельного завершающего удара оппонент. — Тебе просто не о чем писать. Какие-то пейзажики и прочая мура. В стихах нет судьбы. У тебя в жизни не было настоящей трагедии. Вот если бы твоя любимая женщина попала под трамвай...

В глазах моей девушки, жмущейся в углу, ужас. Под трамвай ей явно не хочется, даже ради моей поэтической судьбы.

— А у тебя была трагедия? — окончательно вскакиваю я.

— Была, — отвечает мой гонитель с той горделивой поспешностью, которая не оставляет сомнений в том, что и у него никакой трагедии пока в жизни не было. Разве что отец из загранкомандировки джинсы не привез.

«Ничего, — подбадриваю себя я. — Сейчас за меня заступятся...»

Но друзья, на поддержку которых я рассчитываю, вяло возражают врагу и от растерянности хвалят какие-то мои совершенно не обязательные строчки, нажимая на то, что молодой талант, даже если он и не совсем еще талант, заслуживает бережного отношения. Тем более что обсуждаемый поэт, то есть я, — отличный товарищ, хороший человек и даже комсомольский активист. В глазах моей девушки появляется то выражение, какое обычно бывает при виде собачонки, раздавленной уличным транспортом. Сикорский все больше хмурится. И я с ужасом понимаю: моя жизнь, во всяком случае литературная, не удалась. Личная жизнь, кстати, тоже под угрозой...

Наконец товарищи по перу сказали все, что про меня думают, довершив черное дело, начатое «расчленителем». Теперь все смотрят на Вадима Сикорского. Надо заметить, он был в своих разборах объективен, хотя и строг до чрезвычай-

ности. Не ругал он только явных графоманов — щадя этих чаще всего нездоровых людей, приносивших на обсуждения бесконечные стихотворные поздравления друзьям к праздникам и дням рождения.

*В день рожденья, тетя Валя,  
Я Вас нежно поздравляю...*

— М-да, — вздыхает Сикорский, обегая глазами симпатичных девушек в зале. — А почему вы не прочитали «Февраль»?

— Какой февраль?

— Ну вот, у вас в подборке:

*Снег цвета довоенных фото  
Лежит, подошвами примят.  
Ворчанье шин. На поворотах  
Трамваи старчески скрипят...*

— Оно мне не удалось! — гордо объявляю я.

— Да, стихи неровные... «Ворчанье шин» — плохо. Ворчать на вас будет жена (короткий взгляд на мою девушку). «Старчески скрипят» — тоже плохо — «штамп». У вас вообще какой-то штамповочный цех! «Лежит, подошвами примят» — неуклюже... Хотя имеет право на существование. А вот «снег цвета довоенных фото» — хорошо. Даже очень хорошо! Работайте над собой! Кого обсуждаем в следующую пятницу?

— Меня... — жалобно сообщает мой главный погромщик.

— Что ж, посмотрим... — усмехается Сикорский.

И в моей душе расцветает чертополох возмездия...

## 7. Смертельно опасная женщина

Мэтр прожил долго и скончался в 2012 году. Я написал некролог для «Литературной газеты». Вот он с некоторыми сокращениями:

«Умер Вадим Витальевич Сикорский. На 91-м году жизни. Один из могикан некогда многочисленного и могучего племени советских поэтов, точнее поэтов советской эпохи. Он дебютировал с книгой “Лирика” в 1958 году, уже зрелым человеком, а по меркам нынешних скороспелых дебютов — и вовсе “стариком”. Его стихи были лаконичны, афористичны, сдержанны, почти лишены примет неизбежной тогда политической лояльности, что выгодно отличало их от многословия эстрадной поэзии, изнывавшей от этой самой лояльности.

В предисловии к “Избранному” в 1983 году он писал: “Главным в поэте я всегда считал уникальную способность оказаться наедине с миром, со Вселенной, со звездами, с самим собой. Умение взлететь ввысь сквозь любые учрежденческие потолки, сквозь стены и этажи увеселительных заведений, сквозь тяжелые железобетонные стены любых подвалов”. Сикорский был всегда сосредоточен на странностях любви, на вечных и проклятых вопросах:

*Ничто не вечно — ни звезды свечение,  
ни пенье птиц, ни блеск луча в ручье, —  
ничто не вечно. Смерть не исключение:  
Не может вечным быть небытие.*

После 91-го, когда в поэзии воцарился концептуальный цирк, Сикорский ушел в тень, его публикации стали редкостью, он сел за большой роман, главу из которого “ЛГ” напечатала несколько лет назад. До последнего времени он оставался бодр, в его крепком стариковстве явно угадывался некогда полный страстей, красивый, сильный мужчина, овладевший не одной женской привязанностью, чувствовавший себя без любви “как скульптор без глины”. Сам он с присущей ему самоиронией как-то назвал себя в стихах “атлетическим повесой”. И мне хочется вопреки строгому жанру эпитафии процитировать мое самое любимое стихотворение ушедшего поэта “Встреча”, по-моему, замечательное:

*Опасность была не уменьшена  
Ни светом, ни тем, что — народ...  
Почти нереальная женщина  
Навстречу спокойно идет.*

*Из облака солнцем точенная?  
На лбу — неземного печать?  
Нет, мысль, на слова обреченная,  
Об этом должна промолчать.*

*Решусь объяснить лишь косвенно:  
Всю мудрость налаженных дней,  
Как нечто никчемное, косное,  
Забыв, я пошел бы за ней.*

*Устроенность жизни, направленность  
Всех помыслов, все, чем я жив,  
Я сжег, если б ей не понравилось,  
К ногам ее пепел сложив.*

*Такая мне Богом обещана.  
Потупясь — себя отстраня,  
Смертельно опасная женщина,  
Прошла, не коснувшись меня.*

Прощайте, Вадим Витальевич! В судьбе человека, посвятившего себя стихам, много горечи, но есть и одна привилегия: его ждет не только вечная жизнь за гробом, но и неведомая судьба в параллельных мирах высказанного поэтического слова».

Но тогда, в 1974-м, он еще почти молод, бодр и заинтересованным взором провожает мою девушку, неотразимую в юной взволнованности. После обсуждения мы, как водится, пьем в скверике обязательный портвейн. Друзья, отводя глаза, объясняют, мол, все дело в том, что я плохо читал свои стихи, что у Сикорского какие-то неприятности в «Новом

мире», что наши литературные враги просто сволочи и пишут еще хуже, чем я...

— Ой, извини!

Проводив подругу домой, я еду к себе на станцию «Лосиноостровская» в полночной электричке. Спасительный наркотик портвейна выветривается, и леденящая оторопь непоправимого диагноза убивает сердце. Диагноз состоит из двух слов: «Я бездарен...»

Кто не писал стихов, никогда не поймет это состояние. Ты вдруг осознаешь, что вожделенный, прекрасный мир, где гениальные метафоры прыгают, как райские птицы, с одной стихотворной ветки на другую, для тебя закрыт навеки. Никогда, никогда, никогда ты не войдешь в этот поэтический эдем, не хлопнешь по плечу задумавшегося над строкой великого собрата и не спросишь: «Ну что, брат Пушкин?..»

После того, первого обсуждения я два дня пролежал на кровати, отвернувшись к стенке, не подходил к телефону и отказывался от пищи. Мои родители, не имевшие к литературе никакого отношения, шепотом жалели о том, что их сын, вместо того чтобы выбрать надежную рабочую специальность, связался с этими чертовыми стихами. Впрочем, девушка по имени Наташа, несмотря на случившийся на ее глазах унижительный разгром, во мне не разочаровалась и вскоре стала моей женой, каковой и остается по сей день. Явление, надо сказать, довольно редкое в нашем многобратном литературном мире.

Обычно после подобных зубодробительных обсуждений отсеивалась примерно половина начинающих поэтов. Но у тех, кто выдержал, пережил, поднялся, — в душе совершался прорыв на некий иной уровень. Много позже я понял, что скачкообразное развитие литературного дара у пишущего человека случается именно в дни отчаянья и презрения к себе, а не в дни озарений и всеобщего признания. Трудно объяснить, почему так происходит, одно могу сказать уверенно: графоманы никогда не мучаются сомнениями и в отчаянье не жгут написанное. Они с усталым удовольствием потирают поясницу, встав от поэмы, написанной в том ясном душевном состоянии, которое напоминает отлаженное пищеварение.



Я пережил. Перемучился. И пошел. Дальше в литературу. Много потом в моей творческой биографии было разгромных рецензий, неискренних похвал, организованных бойкотов, напраслины, но после Великого Избиения Поэтического Младенца все это пустяки и мелочь. Вскоре Сикорского попросили дать в газету «Московский комсомолец» стихи семинаристов. Он рекомендовал гордость нашего семинара Игоря Селезнева, а также Валерия Капралова и меня. Для моей публикации он выбрал стихотворение «Февраль». Это случилось в марте 1974 года.

## 8. Первая публикация

О первая публикация! Она незабываема, как первая женщина. Тогда Москва была усеяна газетными стендами, чего теперь нет и в помине. Возле стендов всегда стояли люди. Странно, ведь газета стоила всего две копейки. Вроде бы купи — и не мучайся. Но нет: стояли и читали. Я шел по Москве, высматривая стенды «Московского комсомольца», и пристраивался рядом с каким-нибудь углубившимся в газету гражданином. Мне чудилось: он в этот миг упивается именно моими стихами.

Но граждане читали в основном про спорт...

Если ты пережил Великое Избиение Поэтического Младенца и не получил пожизненное отвращение к сочинительству, у тебя появлялся шанс стать настоящим стихотворцем. Я сознательно не употребляю слово «поэт», ибо это уже совершенно иная шкала измерений. Стихотворец — профессия, поэт — миссия. Впрочем, в быту эти слова частенько путают. Я, например, застал времена, когда, заполняя анкету, в графе «профессия», нисколько не смущаясь, писали: «поэт». А в графе «место работы» — «Союз писателей». Стихами в ту пору можно было заработать на жизнь, особенно если ты занимался переводами с языков народов СССР. Точнее, не с языков, а с подстрочников. Это была настоящая индустрия, кормившая толпы стихачей. Жизнь одного из таких переводчиков описана в моем рассказе «Пророк». Но я только сопри-

коснулся с этим родом деятельности. Что-то мне подсказывало: переводы — вид литературного донорства, пусть даже хорошо оплачиваемого. И беда в том, что в нужный момент тебе может не хватить «творческого гемоглобина» для собственных сочинений. Однажды я мучился над подстрочником молодого казанского поэта Амира Махмудова, никак не мог подобрать рифму и, чтобы выкрутиться, приписал ему метафору, которой у него не было в помине — про «девушку, что плавит лед пучком льняных волос». Вскоре пришло восторженное письмо автора, звавшего меня и впредь не ограничиваться поверхностным прочтением подстрочника, а черпать образы из глубин первоисточника! Я уклонился...

Но многие не уклонялись — и случались казусы. Однажды известного среднеазиатского поэта, автора десятка книг, переведенных на русский язык, выдвинули на Госпремию. Выдвинули скорее не за творчество, а за высокий пост. На Востоке издревле визирь, не сочинивший ни одной газели, вроде бы и не визирь. К нам эта мода тоже прикочевала. Вспомним пойманного на взятке министра экономики Улюкаева, который регулярно печатал в журнале «Знамя» и даже читал на заседаниях правительства свои вирши. Назвать их стихами невозможно — настолько они беспомощны. В одном из них министр РФ советовал своему сыну валить из этой страны. Не слабо! Мы, кстати, в «ЛГ» по поводу «творчества» высокопоставленного чиновника нелюбезно высказывались задолго до того, как на него надели наручники. Так что обвинять меня в злопыхательстве не стоит. А что касается среднеазиатского «визиря», вдруг выяснилось: стихов на родном языке у него нет и никогда не было — одни подстрочники, которые писал его помощник, а уж из подстрочников за хорошее вознаграждение столичные мастера изготавливали «настоящее искусство». Вышел скандал. Но с другой стороны, в том, что крупному чиновнику хотелось прослыть именно поэтом, а не, допустим, экономистом, тоже был особый знак времени...

Но я снова отвлекся. Итак, следующий этап становления молодого поэта — вращение в редакционно-издательскую жизнь. Отчасти начинающий стихотворец уже сталкивался с этим странным миром, когда отправлял в редакцию первые

свои стихи. Но это, так сказать, разведка боем, в котором он и получил первые литературные раны. Теперь же твердою нужно было взять штурмом.

Когда впервые приходишь со стихами в издательство или журнал, на тебя смотрят как на придурка, среди ночи разбудившего весь дом да еще нагло попросившего напиток и переночевать. От тебя хотят отбойриться. Кому, спрашивается, нужна лишняя головная боль в виде твоей пухлой рукописи? Свое первое посещение издательства я запомнил очень хорошо. Это походило на спортивный поединок.

— Может быть, вам, молодой человек, лучше сначала показать стихи в каком-нибудь литобъединении? — дежурно посоветовал мне сотрудник редакции и снова углубился в рукопись, по-моему, свою собственную. На нем был кожаный пиджак, что свидетельствовало о его успехах на творческом поприще.

— Я занимаюсь в объединении при горкоме, — уверенно ответил я.

— Это хорошо, — отозвался он с той интонацией, с какой обычно говорят «очень жаль».

1:0 в мою пользу. Я протянул папку со стихами.

— А знаете, ведь мы берем стихи только у тех, кто уже печатался! — Он явно не торопился принять мою рукопись.

— Я печатался. В «Московском комсомольце».

— Ах, вот оно что... — На его лице мелькнула ревнивая тень: в «МК» пробиться было не так-то легко.

2:0 в мою пользу. Папка у него на столе, и он неохотно развязывает тесемки.

— Ну, давайте посмотрим... А это еще что такое? У вас «слепые» экземпляры, а мы принимаем первые, в крайнем случае — вторые.

— А у меня только первое стихотворение «слепое», остальные нормальные. «Слепое» я могу забрать. Но оно про комсомол...

— Про комсомол, серьезно? Ладно, оставьте...

3:0 в мою пользу. Матч выигран!

Рукопись принята и зарегистрирована. Теперь он от меня так просто не отвяжется. Будут, конечно, разгромные вну-

тренние рецензии, требования доработок. Я стану вновь и вновь приходить к нему, приносить варианты, выслушивать критику, сначала чудовищную, позже — товарищескую. Однажды, к какому-нибудь празднику, я прихватю с собой бутылочку коньяка, он достанет закуску, мы выпьем. Он разоткровенничается и поведает про то, что выпустил недавно третью книжку стихов, а подлая критика его в упор не видит. Ему уже за сорок, а на творческих вечерах его продолжают объявлять «молодым поэтом». Он-то думал, покупка кожного пиджака с огромной переплатой что-то изменит в его жизни. Оказалось, нет...

— У меня скоро внуки будут, а я все еще «молодой»... — горько вздохнет он. — Пушкина-то в тридцать семь уже того... ну, понял...

— А Лермонтова вообще в двадцать семь... — вздохну я, вспомнив о недавно отпразднованном своем 23-летию.

Года через два мы станем друзьями, и однажды совершенно буднично, мимоходом он скажет:

— Беги, Юра, в магазин! Сегодня тебя вставили в «темплан»...

А если твоя фамилия появилась даже в самом отдаленном тематическом плане издательства — значит, ты не зря ходишь по этой земле, бормоча себе под нос стихотворную невнятицу. По моим наблюдениям, есть два основных типа заведующих отделом поэзии — суровый и ласковый. Суровым был, например, заведующий отделом поэзии издательства «Молодая гвардия» Вадим Кузнецов. В ту пору шевелюристый, буйно-бородатый, он смотрел на входящего в кабинет робкого сочинителя, сурово надломив бровь. И твоя душа, жалобно позванивая не востребованными рифмами, уходила в пятки, где и пребывала во время знакомства, не сулившего ничего хорошего. Но, как ни странно, с суровым можно было в конце концов договориться.

А вот если заведующий отделом поэзии источает ласку, медово улыбается и, не дай бог, называет вас «миленьким» или «лапочкой» — можно не сомневаться: ваши стихи он не напечатает никогда... Таким был Натан Злотников в «Юности». Прорваться сквозь его мертвую защиту можно было

только с помощью главного редактора Андрея Дементьева. Он влетал в журнал, словно добрый ураган, и ставил все на свои места.

В те годы существовала система, которую образно называли «перекрестным опылением». Поэты, работавшие, скажем, в журнале, печатали поэтов, служивших, допустим, в издательствах. И наоборот. Такая вот круговая взаимопомощь. Вступить в этот круг было непросто. Конечно, лучше всего — устроиться на хорошую литературно-издательскую работу. Но как? Нужно иметь связи, лучше — родственные. Правда, возможны и другие способы проникновения в «мафию». Один лысенький молодой поэт, например, завел подружку в меховом ателье и буквально закидывал влиятельных писателей прекрасными ондатровыми шапками. В долгу они не оставались: стихи этого шапкозакидателя регулярно появлялись в печати. Я был поражен, обнаружив их даже в сборнике «Шедевры русской поэзии последней четверти XX века». Как же долго люди могут хранить признательность за качественный головной убор! Кстати, исчезновения в нашем Отечестве дефицита меховых изделий этот поэт не пережил, исчезнув из литературы навсегда. Другой, бывший футболист, имел домик на крымском побережье, предоставлял его сильным поэтического мира и тоже проник таким образом на страницы периодики. Третий, начинающий драматург, для одного знаменитого ленинописца организовывал у себя на квартире вечеринки с девушками. Тем и жил...

Тогда, конечно, казалось, что это взаимное опыление, все эти мерзости приспособленчества есть органическое порождение проклятого Совка. Но сейчас, окидывая мысленным взглядом литературные просторы постсоветского Отечества, я убеждаюсь в том, что закон взаимного опыления не только не исчез, а окреп, разветвился, даже приобрел глумливую рыночную откровенность. И если в 1970-е годы вхождение в литературу человеку без связей облегчала, как, например, мне, активная общественная работа, то с конца 1980-х молодым поэтам помогало уже участие в андеграунде или даже диссидентство. В сущности, та же общественная работа, только с иным идеологическим знаком и ради не своего, а чу-

жого государства. Сколько неудачливых поэтов плакали по ночам, кляли себя за то, что не догадались, как Бродский, заблаговременно попасть под суд по статье «тунеядство» или на худой конец застаться парочкой приводов в милицию, дабы воспользоваться репутацией борца с советской властью. С особым умилением я теперь слушаю по телевизору страшные рассказы рок-поэта Андрея Макаревича про то, как советская власть едва не сгноила его талант. О том, что «Машина времени» работала в основном на государственном горючем и комсомольской смазке, он умалчивает. Да и кому это теперь интересно?

Об организационно-бытовых хитростях, позволяющих побыстрей вскарабкаться на Парнас, можно говорить бесконечно. Но никого еще услуги, оказанные власти, борьба с ней, женитьба на дочке классика, срочная сексуальная переориентация, что-либо иное не сделали поэтом. Человека, даже чрезвычайно удачливого и предприимчивого, поэтом, извините за трюизм, могут сделать только стихи...

## 9. Опоясывающие рифмы

До армии, куда я отправился после окончания института, мне удавалось печататься только в «Московском комсомольце», где работал благоволивший ко мне (да, пожалуй, ко всем молодым литераторам) поэт и журналист Александр Аронов. Я тогда жил в Орехово-Борисове, на окраине Москвы, и мы были соседями. А еще поблизости обитал поэт и переводчик Григорий Кружков. Мы называли себя «Орехово-Борисовской школой». Кружков даже написал такие смешные стихи:

*В Орехово-Борисово  
Не встретишь черта лысого.  
Зато там есть Аронов,  
Поэт для миллионов,  
Кружок его дружков,  
Дружок его Кружков...*

Летом 1976 года вышла моя первая большая подборка стихов в «Московском комсомольце». Ее, как модно выражаться, пролоббировал все тот же Александр Аронов. Сначала предисловие планировали взять у главного редактора «Нового мира» Сергея Наровчатова. Бездомный, как Вийон, поэт Юрий Влодов, изгнанный очередной женой, жил тогда в редакции. Он взялся устроить напутственное слово классика начинающему автору, то есть мне. К выполнению обещания он приступил немедленно, как только я принес бутылку с закуской, сел за машинку и начал печатать: «На днях мне в руки попали стихи молодого талантливом москвича Юрия Полякова...» «А разве так можно?» — робко спросил я. «Да, так нельзя... — согласился Влодов. — Наровчатов так не напишет. Он небожитель. Он напишет вот так: “Днями мне в руки попалась...” Вошел Аронов, узнал, что мы пишем предисловие Наровчатова, и сообщил, что тот попал после запоя в больницу, откуда, кстати, так и не вышел. Отличный был поэт — в молодости:

*Он женщину с оленьими глазами,  
Взяв за плечи, с плеча бросает в мох...*

Тогда решили попросить предисловие у Владимира Соколова, лидера «тихой лирики». Набравшись наглости, я позвонил ему, и он, к моему удивлению, согласился. Вскоре мы сидели на кухне его квартиры в Безбожном переулке, он диктовал, а я записывал. Чем-то я ему понравился. Но, собираясь к мэтру, я робел и для храбрости захватил с собой двух друзей-медиков, а они бутылку казенного спирта, настоящего на лимонных корках. К вечеру домой вернулась жена поэта Марианна, сурово оберегавшая его от зеленого змия. Она отругала мужа и разогнала пьяные посиделки. Объяснить ей, что собрались мы с уважительной целью — сочинить предисловие молодому дарованию, — никто не смог: спирта было слишком много. Несмотря на этот конфуз, Владимир Николаевич дал потом предисловие не только к подборке, но и к моей первой книжке. Мы дружили до самой его смерти в 1997 году. Мне с товарищами выпало хоронить замечательного поэта. Я до сих пор помню, как мелкий снег падал на его мраморное лицо и не таял...

Незадолго до кончины Соколова я, как бы возвращая долг, издал со своим предисловием последнюю его прижизненную книжку «Стихи Марианне». Жизнь любит опоясывающие рифмы... В моем — ответном — предисловии, носящем название «Классик», есть и такие слова: «Классический поэт — всегда “ловец человеков”, точнее, человека. И этот единственный человек — он сам. Для того мучительно и вяжется небесная сеть стихов, ибо она способна уловить мятущуюся, ускользающую, любящую душу, а вместе с ней и дух своего народа, и эпоху, в коей довелось жить поэту. Для классика традиция — не груда обломков, превращенная в пьедестал, но ступени, по которым происходит тяжкое восхождение к себе. Только тому, кто постигает себя, интересны другие, интересно то, что “за стихами”. Родной язык для классика — не распятое лабораторное тельце, дергающееся под током натужного эксперимента, но теплая кровь, струящаяся в строчках живого стихотворения. Классик обречен на гармонию. Наверное, поэтому, стараясь понять Соколова, критика некогда относила его к “тихой поэзии”, но если слово “тихий” и подходит к нему, то лишь в том смысле, в каком это слово подходит к названию океана...»

Много позже я, пользуясь своими возможностями главного редактора «ЛГ» и некоторыми связями в Московском правительстве, «пробил» Соколову мемориальную доску, ее собирались прикрепить к стене писательского дома в Безбожном переулке, где поэт одиноко и мрачно существовал после самоубийства своей первой жены — болгарки, с которой познакомился, учась в Литературном институте. Об этой трагедии его стихи:

*Ты камнем упала.  
Я умер под ним.  
Ты миг умирала.  
Я — долгие дни...*

Но Марианна Евгеньевна хотела, чтобы доска висела на писательском доме в Лаврушинском переулке, где они счастливо жили до самой смерти поэта. Но тут нашла коса на камень.



Тогдашний мэр Лужков где-то ляпнул, мол, из-за мемориальных досок Москва стала напоминать колумбарий в крематории. Возникли сложности. На доме, который построили в «Лаврушке» специально для писателей по распоряжению Сталина и где жили многие классики, разрешили повесить лишь одну золоченую доску — второстепенному и ныне забытому горьковеду Юзовскому, пострадавшему по делу космополитов на излете сталинской эпохи. Нет, его не расстреляли, как Фефера, не посадили, но потрепали в прессе. Выяснилось, достаточно, чтобы получить посмертную доску, в чем отказали одному из лучших русских поэтов XX века Владимиру Соколову...

...Вскоре после выхода подборки в «Московском комсомольце» меня забрали в армию, и там, несмотря на все трудности, я неожиданно расписался. Давно замечено, что несвобода окрыляет. Я привез домой около ста стихотворений. Их охотно печатали журналы, и подозреваю, потому, что в редакциях был острый дефицит стихов об армии, проходивших по ведомству «советского патриотизма». Агитпроп, чуя надвигающийся кризис, жаждал от поэтов патриотического пафоса. Но что-то случилось, любовь к родине вышла из моды, обида на Отечество или презрение к нему становились признаком хорошего тона, продвинутости, как голодание по Брэггу или воспитание по Споку. Я тоже уходил в армию, страдая совершенно типичным для столичного студента недугом — насмешливой неприязнью к своей стране. Это был непрременный атрибут просвещенности вроде нынешней серьги в ухе гея. Из армии я вернулся другим. Помню, как посмеивались собратья-поэты над моими армейскими стихами, над их открытой патриотичностью. Да, после института мне нужно было попасть в Германию, хлебнуть армейской жизни, чтобы:

*...подобреть душой,  
Душой понять однажды утром сизым,  
Что пишут слово «Родина» с большой  
Не по орфографическим капризам...*

Удивительно, как все-таки поэтическая интуиция опережает логическое осмысление жизни! Лишь много лет спустя,

почитав книги умных людей и поработав собственными мозгами, я задумался о губительности болезненной неприязни к Отечеству, отчасти навязанной средой и контрэлитой. Теперь, когда разработана теория «сетевых войн», это стало очевидным. «Злость» в отношении своей страны, заразив миллионы, ведет к разрушению, глобальным катастрофам. Поэтическая логика подсказала мне, тогда еще совсем юному и неискушенному человеку, это словосочетание — «подобреть душой».

После больших подборок, вышедших в 1977 году в «Юности», «Студенческом меридиане», «Молодой гвардии», я попал на Московское совещание молодых литераторов. Впрочем, это еще ничего не значило — в совещании участвовали десятки, даже сотни молодых. Где они теперь все? Бог весть... Не знаю, как сложилась бы моя литературная судьба, но в 1978 году я внезапно стал секретарем комсомольской организации Московского отделения Союза писателей. Была и такая, хотя средний возраст членов СП СССР в ту пору составлял 67 лет. Кстати, моими предшественниками были поэты Евтушенко, Вегин, Кашежева, Мнацаканян... Почему старшие товарищи остановили выбор именно на мне? Полагаю, потому, что я, единственный из всех молодых литераторов, имел некоторый опыт райкомовской работы и вдобавок после употребления спиртных напитков в буфете ЦДЛ не буйнил... Кстати, «комсомольский след» в моей литературной биографии с ехидством припоминают мне до сих пор. А вот об участии одного молодого поэта в групповом изнасиловании, которое шумно обсуждали в те годы, давным-давно позабыли. Странно, если задуматься...

Вскоре я стал работать корреспондентом в возрожденной газете «Московский литератор» под руководством одного из «смогистов» Александра Юдахина, человека по-своему могучего, талантливое, но непредсказуемого и неуправляемого, как «КамАЗ» со сломанной рулевой тягой. Потом ему на смену пришел Сергей Мнацаканян, поэт глубокой культуры, чрезвычайно помогший мне в годы литературного становления. Останься я работать в школе или в том же райкоме комсомола, конечно, моя первая книжка вышла бы гораздо позже. А так, спасибо комсомолу, — на закрытии VII Всесоюзного

совещания мне вручили издательский договор. В 1980 году в «Молодой гвардии» в знаменитой серии «Молодые голоса» вышел мой первый сборник стихов «Время прибытия». Мне позвонили из издательства и сказали: «Приезжай за сигналом!» Я помчался на Сущевскую улицу, взлетел по широкой конструктивистской лестнице и вошел в кабинет главного редактора «Молодой гвардии» Николая Машовца, который меня поздравил и показал тонюсенькую брошюрку на тетрадных скрепках. Тридцать страниц. Сорок два стихотворения.

— Вообще-то, Юра, настоящая книга должна стоять на обрезе! — с улыбкой произнес он и поставил мой сборничек на узенькое ребро. Книжечка по всем законам физики должна была упасть, но почему-то устояла.

— Надо же! — удивился Машовец и как-то странно посмотрел на меня.

В 1990-е он разбогател на издании журналов с кроссвордами, но потом, с изменением спроса, разорился и умер от огорчения.

## 10. В нежных лапах цензуры

Это сейчас наличие книжки ничего почти не значит, а тогда — в период жесткой регламентации печатной продукции — ты мгновенно превращался в совершенно особое существо. И даже если эта книжка была не толще двухкопеечной тетрадки, ты переходил в иной разряд человечества. Теперь ты был Поэт-С-Книгой. И если на первом свидании ты дарил девушке свою книжку с дарственной надписью, это производило на нее такое же впечатление, как если бы сегодня ты достал из барсетки толстенную пачку долларов и предложил ей тут же, не заезжая домой, лететь на Канары...

Тираж моей первой книжки, кстати, был не маленький — 30 тысяч, а распространение было налажено так, что, прибыв как-то на Сахалин и зайдя в сельпо, я обнаружил там среди круп, спичек и банок консервов мою книжку. Перебирал на полке стихотворные издания и нашел мое «Время прибытия» между сборниками Анатолия Передреева и Анатолия Пре-

ловского. Да, стихи тогда еще читали, и я получил множество писем от поклонников. Начальство, самое высокое, тоже пристально следило за поэтическим процессом, чуя крамолу. Помню один страшный скандал, потрясший без преувеличения всю отечественную словесность. «Московский литератор», выходявший мизерным по тем временам тиражом — две тысячи экземпляров, — в 1979 году напечатал стихи Феликса Чуева, вроде бы совсем невинные:

*Синее небо среди желтых берез,  
Тонкий виток паутины,  
Алая память негаснущих роз,  
Лето и стынь в поединке...  
И никогда я к тебе не вернусь,  
Не повторюсь, отгорю я  
В жизни твоей. Так зеленую грусть  
Солнце палит поцелуем.  
Если бы в детстве во мне не погас  
Редкостный дар непрощенья,  
Душу свою я б не мучил сейчас —  
Цель, недостойную мщенья.  
Если б тот редкостный дар не погас!..*

И вдруг Юдахина вызвали на Китайский проезд, в Главлит, к главному цензору страны! Вернулся он оттуда в ярости, переходящей в суицидальное отчаянье. Оказалось, невинная чувеская элегия на самом деле была дерзким политическим акростихом. Прочитайте первые буквы строчек сверху вниз. Получается: «Сталин в сердце». Скандал выплеснулся на заседание парткома, и Чуеву, члену КПСС, грозили серьезные неприятности. Однако на заседании взял слово уважаемый писатель-фронтовик:

— А что вы, собственно, кипятитесь? Ведь не Гитлер в сердце, а Сталин! Мы с этим именем в атаку поднимались!

— А нарушения социалистической законности? — пытался кто-то возразить.

— Их партия осудила. А за троцкизм я бы и сегодня сажал!

В общем, скандал сошел на нет, но с тех пор, прежде чем подписать номер в печать, Юдахин сурово спрашивал:

— Акростихи есть?

— Нет! — твердо отвечали мы, наученные горьким опытом.

То же самое вплоть до перестройки делали все главные редакторы на бескрайних просторах нашего Отечества... А Чуев ходил героем и нисколько не пострадал. В самом деле: как можно наказать человека за то, что у него Сталин в сердце?

Кстати, неприятная история с цензурой была и у меня. В 1981-м в издательстве «Современник» готовилась моя вторая книга «Разговор с другом», куда я включил стихи о человеке, которого в 1941-м расстреляли за невыполнение «неправильного» приказа:

*...Тут справедливости не требуй:  
Война — не время рассуждать.  
Не выполнить приказ нелепый  
Страшнее, чем его отдать.  
Но, стоя у стены сарая,  
Куда карать нас привели,  
Я твердо знал, что умираю  
Как честный сын своей земли...*

Стихотворение цензура сняла прямо из верстки, редактору Александру Волобуеву объявили выговор, и он от огорчения слег с сердечным приступом. Книга вышла гораздо меньшим тиражом, нежели планировалось, что серьезно сказалось на размере гонорара. Меня тоже вызвали куда следует и пожурили. Но пожурили, как я заметил, с какой-то странной симпатией. Друзья-поэты подходили и поздравляли. Не каждого поэта цензура отмечает своим синим карандашом. Но соратники еще не знали, что в моем столе лежат написанные «Сто дней до приказа». Бодаться с советской идеологией становилось делом модным и, как показало время, перспективным. Именно об этом я думаю всякий раз, проходя мимо чудовищного памятника виолончелисту Ростроповичу. Между тем, памятника Георгию Свиридову в Мо-

скве не поставили даже к 100-летию великого композитора. А за что ставить-то? Он же в отличие от Ростроповича не эмигрировал из СССР, не бегал с автоматом по Москве в 1991-м!

## 11. Не ходите по небу!

Меж тем моя литературная карьера шла по восходящей. После публикации стихотворения «21 июня 1941 года. Сон» ко мне в Доме литераторов подошел один из лидеров нашего поэтического поколения Андрей Чернов, автор знаменитых строчек: «Не ходите по лужам. Ведь в них отражается небо! Так зачем же по небу. По чистому небу — в галошах?!»

Он только что открыл рифму в «Слове о полку Игореве», стал возводить свой род к декабристу Чернову и держался особняком. И вот Андрей подошел и сказал, посмотрев на меня с удивлением: «Знаешь, раньше ты был просто Юра Поляков, а теперь ты тот самый Поляков, который написал про двадцать миллионов шапок. Поздравляю!»

В июне 1983-го у меня вышла полоса стихов в «Огоньке», самом популярном и тиражном журнале СССР. Среди поэтов моего поколения такого отличия пока никто не удостоивался. Подборка была замечена и бурно обсуждалась. Редактировал тогда «Огонек» Анатолий Софронов, еще сохранивший остатки бывшего могущества: в 1940—1950-е он входил во всеильный триумvirат Фадеев — Симонов — Софронов, который управлял всеми делами в писательском мире, в том числе и «делом космополитов». Между прочим, оно началось с жалобы в ЦК театрального критика А. Борщаговского, указавшего начальству на угрозу русского великодержавного шовинизма. Стали разбираться — и пришли к выводам совершенно противоположным. Так что не буди лихо... Но если Фадееву и Симонову борьбу с безродными космополитами со временем простили, то Софронову — нет, и в устах тогдашних поборников общечеловеческих ценностей его имя было сродни бранному слову. Однако стихи ему несли все, даже враги, — и он печатал. К тому же в качестве приложения

к «Огоньку» выпускались книжечки стихов, прозы, очерков, причем огромным тиражом — до 100 тысяч экземпляров.

Поэтому стоило Софронову появиться где-нибудь среди писателей, как вокруг начиналось подобострастное «броуновское движение». Польстить, подлизаться, напомнить о себе торопились не только молодые таланты, но и ветераны Гражданской войны, помнившие ледяные воды Сиваша. И вдруг Софронова сняли. Неожиданно. По-моему, летом 1986-го. А у нас как раз в те дни проходил выездной секретариат СП СССР в Ленинграде. Утром две сотни писателей, измученных ночными разговорами под рюмочку, высыпали на платформу и устремились к автобусам, которые должны были отвезти их в гостиницу к целительному завтраку. Я, сильно злоупотребивший вечером с поэтом из Челябинска Константином Скворцовым, вышел из вагона последним и обнаружил на опустевшей платформе растерянного Софронова и его молодую жену Эвелину. Они стояли возле двух огромных, явно заокеанского производства чемоданов и с недоумением озирались. За полвека пребывания во власти Анатолий Владимирович, видно, забыл о том, что багаж сам по себе не перемещается в пространстве: его чемоданы всегда подхватывали наперебой руки жаждущих печататься литераторов и несли куда надо. А тут вот такое дело... И ни одного носильщика поблизости. Я поздоровался, поднял оба чемодана и быстро понес к выходу, торопясь к воображаемой кружке утреннего пива. Больной, стремительно постаревший Софронов, еле поспевая за мной, захотел в благодарность сказать мне что-то приятное и, борясь с одышкой, прошептал:

— Вы... вы... хо... ро... ший поэт...

Мне стало за него обидно. Вскоре он умер. Но его песню «Шумел сурово брянский лес...» поют до сих пор.

27 мая 1984 года произошло знаковое событие: три мои стихотворения были опубликованы в «Правде». Одно называлось «Моей однокласснице»:

*Листья в желтое красятся,  
Не заметив тепла...  
У моей одноклассницы  
Дочка в школу пошла.*

*Сноп гвоздик полыхающий  
И портфель на спине.  
О ты, время, пока еще  
Зла не делало мне.  
И пока только силою  
Наполняли года.  
Одноклассница, милая.  
Как же ты молода!*

Редактор отдела литературы «Правды», мягкий толстяк по фамилии Кошечкин, выслушав мои слова благодарности за публикацию, сказал, хитро улыбаясь: «Ну вот, Юра, вы теперь самый молодой советский классик!» Публикация в главной партийной газете, по тогдашним понятиям, считалась своего рода канонизацией. Мы ни словом с ним не обмолвились о том, что без моего ведома строчки: «О ты, время, пока еще зла не делало мне» — переделали так: «Как все это пока еще ясно помнится мне!» В самом деле, о каком «зле времени» можно говорить, если общество под руководством партии движется куда положено? Советские писатели были понятливы. Впрочем, это еще цветочки! В «ЛГ», также без моего ведома, пошли куда дальше. В стихотворении «В карауле» у меня были строчки, которыми мне хотелось передать, как жутко мерзнет солдат на посту: «И греет руки стылый автомат». «Стылый» — «постылый» — задумался бдительный редактор Виктор Широков и переименовал: «К груди прижав любимый автомат». Так и напечатали. Я, прочитав, заплакал, а потом долго не показывался на людях. Казалось, кто-нибудь обязательно подойдет и спросит: «Ну и где, чудила, твой любимый автомат?» Нет, никто не подошел...

А через год меня как «самого молодого классика» и комсорга Союза писателей включили — единственного из моего поколения — в список выступавших на вечере поэзии в Лужниках в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Я оказался на Малой арене вместе с Егором Исаевым, Риммой Казаковой, Робертом Рождественским, Игорем Шкляревским, Сильвой Капутикян, Андреем Вознесенским, Беллой Ахмадулиной, Ларисой Васильевой,



Олжасом Сулейменовым, Андреем Дементьевым, Бобом Диланом, Евгением Евтушенко, приведшим за руку несчастную Нику Турбину — маленькую девочку с взрослым макияжем и ужимками светской львицы. «*О, телефонные звонки, Вы с Богом наперегонки!*» — прочитала с салонной томностью юная поэтесса — новая игрушка Евгения Александровича. Двадцать тысяч любителей поэзии, заполнивших трибуны, одобрительно заревели. Я сидел, дожидался своего часа и думал о том, что прославиться на весь мир совсем не трудно, достаточно выйти к микрофону и прямо перед камерами, под софитами, хлопнуться в обморок. Мой придавленный, но не побежденный до конца фобический невроз сладко леденил сердце этой милой перспективой. Дело в том, что в пионерском возрасте я завалился без чувств на сцене Дома пионеров, выронив из рук знамя дружины, и прогремел на весь район. А тут я накануне пережил довольно сильный стресс: за день до вечера в Лужниках ко мне в ресторане ЦДЛ подошел Евтушенко, с которым я знаком прежде не был, и спросил:

— Вы Поляков?

— Я.

— Когда-нибудь вы будете этого стыдиться!

— Чего?

— Того, что согласились выступать в Лужниках!

— ?

— Вы понимаете, что вы далеко не самый талантливый поэт в поколении?

— Не самый... — кивнул я.

— Почему согласились?

— Меня назначили... — пролепетал я.

— Знаю, почему вас назначили! — сардонически усмехнулся лидер громкой поэзии, имея в виду то, что я комсорг писательской организации.

— Не я первый, не я последний, — ответил я, намекая на то, что лет пятнадцать назад Евтушенко сам возглавлял ту же комсомольскую организацию.

— Вы не имеете права опозорить поколение! — рассердился он.

— Я постараюсь.

— У вас есть с собой книга?

— Есть. — Я достал из кармана только что выпешдший в «Современнике» сборник «История любви».

— Дайте! — Он сел за столик, заказал кофе и стал брезгливо листать страницы с такой скоростью, точно владел искусством скоротченья.

Я сидел как вспотевшая мышь, разглядывал золотой перстень с печаткой на его длинном пальце и вспоминал межировские строки, посвященные, как утверждали злые языки, лично Евгению Александровичу, которого он когда-то учил писать стихи:

*На одной руке уже имея  
Два разэкзотических кольца,  
Ты уже идешь, уже наглея,  
Но пока еще не до конца...*

Наконец, лицо Евтушенко вздрогнуло, посветлело, и он поглядел на меня с тем прощающим удивлением, какое бывает у людей, если они узнают, что откровенно не понравившийся им неприятный субъект, оказывается, спас из полыньи ребенка.

— Вот это читайте! — Он ткнул пальцем в стихотворение, которое я написал еще в армии и даже сначала не хотел включать в сборник.

Называлось оно «Детское впечатление».

*Христос ходил по водам, как по суше,  
Хоть обладал такой же парой ног.  
Мне десять лет — и я Христа не хуже,  
Но по воде бы так пройти не смог.  
Так, значит, я — совсем не всемогущий?  
И для меня есть слово «никогда»?!  
Не может быть! Наверное, погуще  
Была вода в библейские года...*

— А мне сказали, вы вообще рифмовать не умеете... Умеете. Странно... — прощаясь, сказал мэтр с недоумением.

Поэтам свойственно думать, что, кроме них, никто не умеет писать стихи.

И вот я сидел на сцене Малой арены Лужников, ожидая своего часа. Отчитала голосом проснувшейся весталки Ахмадулина, отыграл «Казнь Стеньки Разина» сам Евтушенко, одетый в яркий гипюровый пиджак. Теперь — моя очередь. Я встал, плюнул в лицо своему фобическому неврозу, подошел к микрофону, посмотрел на футбольное обилие слушателей и прочитал «Ответ фронтовику»:

*Не обожженные сороковыми,  
Сердцами вросшие в тишину,  
Конечно, мы смотрим глазами  
другими*

*На вашу большую войну.  
Мы знаем по сбивчивым,  
трудным рассказам  
О горьком победном пути,  
Поэтому должен хотя бы наш разум  
Дорогой страданья пройти.  
И мы разобраться  
обязаны сами  
В той боли,  
что мир перенес...  
Конечно, мы смотрим другими глазами,  
Такими же —  
полными слез.*

В конце на моих глазах засветились самые настоящие слезы. ( Я потом увидел это в записи, по телевизору.) Мне долго хлопали. Но я знал: второго стихотворения читать нельзя — не по чину и не по возрасту. Я вернулся на место и поймал на себе запоминающий взгляд Евтушенко. Чести поколения я не посрамил.

## 12. Дорогой Леонид Ильич!

А вскоре меня как молодого коммуниста включили в группу молодежи, которая должна была приветствовать съезд КПСС. Тогда это было признаком стремительного повышения социального и профессионального статуса. Мы должны были несколькими колоннами выдвинуться по проходам меж кресел к сцене и в нужный момент, размахивая над головой зелеными веточками, крикнуть: «Ленин, партия, комсомол!» И так несколько раз, пока из президиума благосклонно не кивнут, мол, хватит, ребята, ступайте себе! Репетировали до одури. Стоявшая за мной актриса Наталья Белохвостикова всем своим тонким лицом выражала сдержанное негодование и брезгливость, как принцесса, подвергшаяся домогательствам простолюдинов. Шагавший впереди меня актер Николай Еременко иногда оборачивался и подмигивал, мол, вот попали-то! Я в ответ мученически закатывал глаза. На трибуне тем временем теснились представители пяти основных категорий молодежи, взволнованно славя что положено, а белорусский поэт Володя Некляев читал свои специальные стихи:

*Плыви, страна — эпохи ледокол.  
Греми в цехах, вставай в полях хлебами...*

Интересно, вспоминал ли он эти строки, когда, став лидером белорусской националистической оппозиции, в нулевые годы тягался с Лукашенко за пост президента, а потом отсиживался в Польше? «О, я без иронии, — как писала наша сверстница Татьяна Бек. — Я же четвертая с краю...» В пионерском приветствии съезду звучали и мои стихи, написанные по просьбе ЦК ВЛКСМ:

*Реет над нами победное знамя,  
И, словно клятва, доносится клич:  
«Мы счастливы жить в одно время с вами,  
Дорогой Леонид Ильич!»*

Принимая работу, заведующий отделом пропаганды ЦК ВЛКСМ совершенно серьезно похвалил:

— Молодец, рифмы неплохие нашел! Не поленился. А то мы тут одному лауреату поручили, так он намастачил: «шагать — помогать», «зовет — вперед»! Как не стыдно!..

— Рад стараться! — по-военному ответил я.

Он поднял на меня глаза: в них была гремучая смесь тоски и тяжелой иронии.

— Думаю, генеральному понравится! — спохватился он и закончил аудиенцию.

Во время съезда я стоял близко к сцене и мог рассмотреть лица членов политбюро, изможденные, серые. Это был какой-то ареопаг мумий. Брежнев с трудом читал текст, делая иногда смешные оговорки. В этот момент президиум и зал насупливались и суровели, видимо, давя в глубине рвущиеся на поверхность лица улыбки. Леонид Ильич явно своих ошибок стеснялся, кашлял, чмокал, поправлял очки, с укором оглядывался на соратников. Много позже я узнал, что как раз в это время он после инсульта просил об отставке, но сподвижники непустили... Тогда казалось, что такое издевательство над старым человеком и народом, вынужденным слушать его «сиськи-масиськи» (это означало «систематически»), возможно только у нас, в «немытом СССР», при тирании одной партии. Но вот наступила демократия, и мы обрели Ельцина, который на излете говорил еще смешнее и невнятнее. В отличие от дисциплинированного Брежнева, читавшего прилежно по бумажке, Борис Николаевич спьяну порол такие «загогулины», что вся страна краснела от стыда и с ностальгией вспоминала «дорогого Леонида Ильича».

В 1987 году в «Советском писателе» вышла моя последняя, как я тогда думал, стихотворная книга «Разговор с другом». Поэт во мне тихо агонизировал, а прозаик крепчал. В том сборнике, кстати, впервые у меня появились верлибры — верный признак того, что стихотворцу стало тесновато в ритмических строках, оснащенных «рифм сигнальными звончками». В тематическом плане «Молодой гвардии» на 1987 год значился мой новый сборник в серии «Второе дыхание». Но родник (а именно так любили в ту пору называть

разные литературные кружки) иссяк. Высох! Я пошел к заведующему редакцией поэзии Георгию Зайцеву, сменившему на этом посту Вадима Кузнецова, и честно сказал: у меня нет новых стихов, поэтому я отказываюсь от издания. Точнее, сначала пришлось выслушать новую поэму Жоры и его долгие мысли об искусстве, а потом мне удалось, наконец, сообщить ему эту информацию. На некоторое время Зайцев потерял дар речи и смотрел на меня с изумлением, как на караса, совершившего на его глазах акт самозажаривания. Такого в его практике еще не было, чтобы автор отказался от книги! В стране уже начались проблемы с бумагой, и даже мэтры вылетали из тематических планов, а оставшиеся условно — бились буквально насмерть. Однако на мое место в темплане издательства ЦК ВЛКСМ никто не покушался, я же был лауреатом премии Ленинского комсомола.

— Ты хорошо подумал? — придя в себя, спросил Жора.

— Да.

— А то, знаешь, давай освежимся! У меня есть коньячок...

Жора, видимо, решил, что на меня с похмелья напала мрачная, обычная для поэта (вспомните Есенина!), экзистенциальная безысходность, которая легко лечится деликатным введением в организм разумных доз хорошего алкоголя.

— Жор, спасибо, я в порядке, у меня просто нет новых стихов...

— Съезди на две недельки в Дубулты, напиши! — посоветовал он, опираясь, вероятно, на свой опыт.

— Не пишется...

— Поройся в черновиках!

Это был известный «способ добычи радия». Ради новой книги поэты опустошали свои архивы, до блеска выскребали сусеки, перелицовывали старые стихи или давали им новые названия, разбивали классические катрены на «лесенки» — лишь бы выпустить еще одну книгу. Любой ценой! А тут...

— Значит, отказываешься? — скрывая радость, переспросил он.

— Да, отказываюсь, но при условии...

— Каком!

— Бумагу отдадут молодым поэтам.

— Это ты хорошо придумал! — огорченно закивал Зайцев.

Жора, надо сказать, условие выполнил: через год вышел коллективный сборник, точнее пять первых книг под одной обложкой, куда вошли стихи Юрия Чехонадского и еще четырех молодых авторов. С одной стороны, они были рады, так как при вступлении в Союз писателей книга в «братской могиле» приравнивалась к отдельному изданию. С другой стороны, им всем обещали авторские сборники, потом, ссылаясь на дефицит бумаги, тянули резину и вдруг, сообщив о моем щедром жесте, взяли и поместили всех под общую обложку. Обидно. У меня хранится этот коллективный сборник с дарственной надписью давно уже покойного Юры Чехонадского, моего соратника по семинару Сикорского: «Юра, я тебе этого никогда не забуду!» И понимай, как хочешь...

### 13. Великий советский читатель

Я где-то читал, что великий физиолог Павлов даже из собственной кончины устроил научный эксперимент: диктовал свои предсмертные ощущения, а ученики тщательно записывали.

— Холодеют ноги... — говорил Павлов.

«Холодеют ноги», — записывали ученики.

— Умираю... — шептал Павлов.

«Умирает», — записывали ученики.

Будучи по образованию филологом и даже защитив кандидатскую диссертацию о фронтовой поэзии, я тоже имею некоторую склонность к научным наблюдениям и несколько раз пытался на собственном опыте проанализировать закономерности умирания поэта. Ведь все у меня шло хорошо и даже прекрасно. Выходили одна за другой поэтические книжки — всего четыре. Я широко печатался в периодике, выступал на радио и даже на телевидении. На вечерах срывал аплодисменты. Получил за свои книги несколько литературных премий, в том числе премию Московского комсомола, что было по тем временам очень серьезно. Я был несомненным баловнем успеха. Для сравнения: за свои повести и ро-

маны (а в прозе, думаю, читатель согласится, мне удалось сделать несравненно больше, нежели в поэзии) я на сегодняшний день получил поощрений куда меньше. Исключение составляет повесть «ЧП районного масштаба». Но премия Ленинского комсомола, присужденная за эту вещь, относится скорее к политике, нежели к литературе.

Кроме того, стихи меня кормили. Я получал гонорары за публикации, но что еще серьезнее — подружился с Всесоюзным бюро пропаганды художественной литературы. Великая, доложу вам, была организация! Могла откомандировать для творческих встреч с трудящимися в любой уголок Отечества — хоть на Алтай, хоть на Сахалин, хоть в ныне суверенную до неузнаваемости Эстонию... Выступив перед читателями, ты должен был отметить в местке особую путевку. За выступление полагалось 15 рублей. Деньги предприятия и организации охотно перечисляли из так называемых фондов «соцкультбыта». Понятное дело, в дальние края меня отправляли не с одной путевкой. Прибыв на место, я обычно шел к начальству, которое, сделав несколько строгих директивных звонков, направляло меня в массы. Не могу сказать, что, к примеру, председатель колхоза, увидав в своем кабинете столичного поэта, подпрыгивал от радости.

— Сколько нужно организовать выступлений? — хмуро спрашивал он.

— Десять, — скромно отвечал я.

— Десять? Они там с ума сошли! У меня же уборочная! И дороги развезло... На тракторе тащить надо! Нет, вы поймите правильно, товарищ поэт, стихи мы здесь любим. Я вот Пушкина уважаю. Но ведь уборочная...

— Я понимаю.

— Что же делать? Что? — Парторг нервно мерил кабинет шагами.

И он, и я прекрасно знали, что нужно делать, но выжидали, приглядываясь друг к другу, ибо для нарушения финансовой дисциплины требовалось единодушие, переходящее в сговор.

— Послушайте! — вдруг, словно пораженный неожиданной мыслью, восклицал он. — Давайте так... Вы выступаете



в центральной усадьбе — в бухгалтерии и библиотеке. А на остальных путевках я вам штампы поставлю. Из любви к литературе. Идет?

— Вообще-то не положено, — розовея от радости, отвечал я, ибо объезжать на тракторе подразделения колхоза мне тоже не очень-то хотелось.

— Сам знаю: не положено, — почти уже просил меня председатель. — Но ведь уборочная и дороги развезло...

— Ну ладно... — поколебавшись для вида, соглашался я. — Мы тоже в Москве понимаем. Уборочная... Закрома родины...

— Ну и прекрасно! — широко улыбался председатель и наклонялся к селектору. — Дуся? Гони вместо обеда бухгалтерию в актовый зал. Поэт из Москвы приехал... Как фамилия?

— Поляков, — подсказывал я.

— Куликов. Очень известный поэт!

Справедливости ради надо сказать, что встречи, организованные таким вот необычным способом, проходили всегда очень тепло. Читал я любовную лирику, и меня, как правило, долго не отпускали, прихватывая кроме обеденного перерыва еще рабочее время. Я повторял на «бис» понравившиеся людям строчки:

*И если мы любовь уже не ценим  
За красоту, как небо и цветы,  
Попробуем беречь хотя бы в целях  
Охраны окружающей среды...*

Никогда не было и не будет, наверное, более благодарных слушателей стихов, чем женщины из российской глубинки. Они, несмотря на свою трудную и довольно однообразную жизнь (а может быть, именно благодаря этому), обладают чрезвычайно высокой душевной культурой и особой чуткостью к слову. Поэт просто обязан постоянно проверять себя чтением стихов, скажем, в районной библиотеке. Если люди, собравшиеся там, не воспринимают твои стихи, не сопереживают им, значит, делаешь что-то не то. Поверьте, я не заигрываю с «рядовым читателем», просто утверждаю: стихи, оставляющие эмоционально-равнодушными «нефилологи-

ческую» публику, — не поэзия. Возможно, это какой-то другой, весьма уважаемый и перспективный вид интеллектуальной игры, в которой тоже используются размер, рифмы, тропы... Но поэзия — это то, от чего загораются глаза и холодеет под ложечкой у грустной бухгалтерши, пришедшей вместо обеда послушать залетного стихотворца. Советская эпоха дала не только несколько поколений прекрасных поэтов, она воспитала несколько поколений замечательных читателей и слушателей поэзии. Увы, и те и другие уходят, исчезают — незаметно, но неумолимо. Хотя иногда их еще можно встретить в самом неожиданном месте...

#### 14. Как умирают поэты

В 2011 году мы с Евгением Евтушенко дождались своей очереди к начальнику земельного комитета Ленинского района Московской области. В эту уважаемую организацию нас привели переделкинские заморочки. Если москвичей испортил квартирный вопрос, то писателей — дачный. Мы сидели в коридоре, и Евгений Александрович буквально страдал оттого, что никто из просителей, уткнувшись в бумагу, не узнает его, всенародного. Отчаявшись, он наклонился к девушке, строчившей рядом заявление, и спросил с интимной игривостью:

— Голубушка, назовите мне выдающегося русского поэта, родившегося на станции Зима!

Она нехотя оторвалась от писанины, глянула на пожилого пристава как на расконвоированного сумасшедшего и сурово попросила не отвлекать ее от дела глупыми вопросами. Автор «Братской ГЭС» скукожился, как мумия, и повернулся ко мне. На его лице был ужас человека, заглянувшего в мертвецкую.

— Юра, ну зачем я прилетаю сюда два раза в год?! — воскликнул он с геморроидальным отчаяньем. — Эта страна мертва! Духовная пустыня! Конеч... Понимаете?

Я кивнул, учитывая его заслуги перед поэзией, и промолчал. Мне-то было понятно совсем другое: не может русский

поэт безнаказанно оставить по собственному желанию Родину в самые сложные времена, пятнадцать лет жить в Америке, а потом обижаться на свое Отечество за невнимание...

— Нет! Ноги моей больше здесь не будет! — покончил счеты с неблагодарной страной Евтушенко, померк и отвернулся к окну.

В этот момент начальственная дверь отворилась, и оттуда вышла немолодая женщина с подписанной бумажкой в благодарных руках. Она, думая о чем-то своем, может, о побелке и купоросе, машинально окинула нас занятым взглядом и вдруг вскрикнула, потрясенная:

— Нет... Не может быть... Евгений Александрович, это вы?

— Я... — сознался, оживая, Евтушенко.

— Можно, я вас потрогаю!

— Можно!

Получив разрешение, она бросилась ему на шею с почти чувственным стоном, крепко обняла, оторвалась, отстранилась, вглядываясь в любимые черты, и прочитала наизусть «Любимая, спи!». Потом снова жарко обняла:

— Вы... Вы просто не знаете, кто вы для нас! Господи, теперь и умереть можно... — всплакнула и сквозь слезы прочитала «Хотят ли русские войны...».

Они еще долго обнимались, вспоминая вечера в Политехническом, родную Сибирь... Когда же поклонница, наконец, ушла, вся в счастливых слезах, Евтушенко обернулся ко мне и, светясь, произнес:

— Нет, Юра, с этой страной еще не все кончено! У России есть шанс!

...Но вернемся к моей поэтической судьбе. Можно сказать, на взлете я вдруг перестал быть поэтом. Но не сразу, процесс был естественный, постепенный, а ведь случается по-другому...

Вот два примера из моего поколения.

Мой литературный сверстник поэт Петр Кошель, приехавший искать счастья в столицу из Белоруссии, был беден, хром, лыс и бездомен, зато писал такие стихи, что Владимир Кожин поспешил объявить его наследником традиций Тютчева и Рубцова, надеждой русской поэзии. Мы дружили. Он

проводил меня в армию. Вдруг неожиданно для всех Петя женился на дочке члена политбюро Слюнькова, в недавнем прошлом минского партийного функционера, стремительно возвысившегося после странной гибели в автомобильной аварии Петра Машерова — легендарного первого секретаря ЦК КП Белоруссии. Причем, насколько я понимаю, то был брак не по расчету, а по взаимной любви. Петр и Инесса познакомились еще в Минске. Кстати, в том, что дочку большого советского начальника можно покорить талантом, никто ничего странного не увидел. Тогда еще не знали той классовой спеси и той пропасти между богатыми и бедными, как сегодня.

Через несколько лет я встретил Кошеля в ЦДЛ, мы выпили пива. Он рассказал, как ездил с какими-то генералами на охоту, и стал звать меня в гости, обещая показать свою новую квартиру и угостить двадцатилетним коньяком. Кто же откажется от двадцатилетнего коньяка! К тому же я как раз получил от Союза писателей трехкомнатную квартиру на Хорошевке, чем страшно гордился. Хотелось сравнить. Тем более что первая квартира, полученная молодоженами, была в Лосинке, в том самом доме, на стройке которого я подрабатывал в студенческие каникулы разнорабочим. Жизнь любит опоясывающие рифмы.

— А теперь где? — спросил я.

— На Таганке.

— Ух ты!

И мы поехали, благо на метро всего пять остановок без пересадки. Сердце мое нехорошо заныло, едва мы подошли к новому дому из бежевого кирпича — «кремлевки». Таких в Москве было совсем немного. Консьержка в просторном подъезде, благоухавшем, как парфюмерный отдел ГУМа, усугубила огорчение: мой подъезд пах, как и положено, мусоропроводом, навещаемым кошками. А когда мы вошли в квартиру, я чуть не погиб от отчаянья: по огромному холлу, размером со всю мою жилплощадь, гонялись друг за другом на велосипедах Петины дети. Я окончательно сник и молча пил, не чувствуя вкуса, раритетный коньяк под рассказы хозяина о том, что теща с женой никак не могут выбрать по спецкаталогу финскую мебель для гостиной. Я за своей стенкой «Ра-

тенов» три недели ходил по вечерам к магазину отмечаться в списке. К чему я вспомнил этот эпизод? Не знаю... Но Кошель вскоре, к страшному огорчению Кожина, как-то полуисчез из литературы, зато ездил на охоту с генералами и лечился в цековских санаториях. Видимо, всякому таланту для развития необходимо сопротивление жизни, он хиреет в атмосфере не заработанного комфорта. Есть такие самозатачивающиеся ножи: чем больше режешь — тем острее лезвие. Видимо, так же обстоит дело и с поэтическим словом, если оно становится ненужным, в том числе и для заработка. Вот так!

Другой случай — судьба Андрея Богословского, поэта, прозаика, композитора, автора рок-оперы «Ассоль», сына Никиты Богословского. Году в 1995-м в моей квартире раздался звонок. Это был Андрей, с которым мы дружились в 1976-м на семинаре творческой молодежи в Пахре, а потом почти одновременно дебютировали с прозой в «Юности». Он часто бывал у нас в Орехово-Борисове, обожал Натальины пельмени и обычно звонил, подражая голосу и дикции Брежнева, что получалось у него очень смешно. Творческая Москва не успевала следить за тем, как он менял жен и автомобили. После 1991-го Андрей исчез из моего поля зрения и вот вдруг объявился. На этот раз Богословский говорил своим, но очень странным, словно механическим, голосом.

— Юра, я видел тебя по телевизору, из чего заключил, что ты человек состоятельный. Поэтому хочу попросить у тебя в долг крупную сумму. Надеюсь, ты не откажешь...

— Сколько?

— Тысячу рублей! — после паузы сказал он тоном человека, решившего прыгнуть с Останкинской башни.

Сумма была по тем временам немаленькая, что-то около двухсот долларов. А на сто долларов, если не шиковать, семья могла прожить месяц.

— Ладно, — согласился я, понимая, такой баловень судьбы, как Андрюша Богословский, не обратился бы ко мне за помощью без серьезного повода. — Дам, но в два приема. Пятьсот могу сразу, а вторую половину через месяц.

Условились назавтра встретиться в холле ЦДЛ. Я пришел, огляделся, но Андрея не обнаружил. Вестибюль был пуст,

если не считать старичка-бомжа, которого почему-то пустили в наш клуб, и он дремал на банкетке возле гардероба, испуская тяжелый помоечный запах. Бомж пошевелился, открыл ярко-голубые глаза, тяжело встал и, шаркая, пошел мне навстречу, распахнув объятия... Это был мой ровесник, звезда моего поколения Андрей Богословский. Он дрожащими руками взял деньги и сказал, что, если сейчас не похмелится, — умрет. Мы выпили где-то пива, он после нескольких глотков ослаб и стал бормотать, что решил завязать с водкой, что уже отдал в починку пишущую машинку, разбитую в пьяной ссоре с женой, курьершей журнала «Юность», что теперь он будет много работать... «Но ты не забудь — через месяц еще пятьсот!» Через месяц я не стал с ним встречаться — оставил деньги у дежурного администратора ЦДЛ «на тумбочке». А вскоре Андрей умер — то ли с перепоя, то ли от передозировки. Он увлекался и тем и другим, а как прекрасно начинал!

Со мной, как я уже сказал, все было иначе. Умирание внутреннего поэта похоже на угасание любви. Очевидно, за поэзию или любовь отвечают в нас какие-то очень схожие «пептиды». Сегодня вдруг ты заметил, что у твоей единственной женщины широковаты щиколотки. Конечно, ничего страшного, а все-таки... Через несколько дней ты вдруг обращаешь внимание на то, что она слишком громко смеется. Нет, не вульгарно, просто громко. Но все же... Еще через неделю, когда неожиданно сорвалось ваше свидание, ты чувствуешь не вселенское отчаянье, а лишь досаду с легким привкусом облегчения. Едва заметным, а тем не менее... Наконец, во время плотского слияния, которое еще недавно было для тебя пьянящим смыслом и назначением всей жизни, ты неожиданно видишь ваши объятия как бы со стороны, ощущая себя участником странных состязаний по межполовой классической борьбе... Далее расставание с женщиной — вопрос времени и порядочности.

Примерно то же самое происходит, когда из души уходит поэзия. В один прекрасный день ты понимаешь, что можешь жить и без стихов. Вчера не мог, а сегодня можешь. Нет, ты, конечно, еще способен их сочинять, и в немалом количестве, благо рука набита — можешь зарифмовать телефонный справочник. Но теперешние, вымученные строчки от прежних,

настоящих отличаются так же, как искусно выполненный восковой муляж от подлинной ароматной антоновки, тронутой крапчатой осенней желтизной. И главное: если прежде стихи были отрадой для души и мукой для разума, то теперь как раз наоборот — они стали мукой для души и отрадой для разума, изощренного в рифмах и тропах. Тебе становится ясно: невозможно, охладев, заставить себя писать настоящие стихи, как невозможно заставить себя любить постылую женщину. Можно старательно изображать эту любовь, плодить детей, выполнять семейные обязанности, мыть посуду... Но любить?! Любить нелюбимую — пытка.

Я не стал длить пытку и сделался прозаиком, о чем не жалею. К тому же на дне души самого заваливающего прозаика всегда отыщутся обломки поэта. Надеюсь, читатели моих повестей и романов это заметили...

Этими словами в 2001 году я закончил мои заметки про то, как был поэтом, и поместил их в первую книгу четырехтомного собрания сочинений. Прошло 15 лет. Я стал осторожнее относиться к хлестким, эффектным, но не совсем достоверным фразам. Поэты не только умирают, но и воскресают...

## 15. Как воскресают поэты

Об одном из таких воскрешений я просто не могу не рассказать. Речь идет об Игоре Селезневе, моем сверстнике, чье имя читатель уже встречал в этих заметках. Мы с ним оба коренные москвичи, по образованию учителя-словесники, в 1970-е вместе входили в литературу, посещали поэтический семинар Сикорского. Он был лидером семинара, я до сих пор наизусть помню многие его стихи тех лет:

*Как у поэтов нету возраста,  
Так ночью в Новгородской области  
Ждешь — не дождешься темноты.  
Лишь все по-прежнему смеркается,  
С кустами дальними смыкается,  
И пахнут дивные цветы...*

Да и дебютировал я с Игорем в коллективной подборке в 1974 году на полосе «Московского комсомольца». Правда, Селезнев к тому времени уже широко печатался и был своего рода мэтром нашего поколения, на все литературные явления имел свой твердый взгляд, о Пастернаке или Мандельштаме говорил так, словно они его старшие друзья, а о Вознесенском с теплой иронией, будто бы Андрей Андреевич — напрака-зивший приятель. Потом почти в одно время у нас с Игорем вышли книжки в «Молодой гвардии» в серии «Молодые голоса». Игорь — единственный из друзей-поэтов гулял на моей свадьбе в 1975 году, выпил и едва не пал жертвой неюной одинокой программистки, сослуживицы моей жены. В дальнейшем мы постоянно общались: едва я занимал какой-то пост, например, в журнале «Смена», или затевал литературный проект, тот же альманах «Реалист», первый, кто появлялся на пороге со стихами, Игорь Селезнев, полный своего неповторимого мрачного достоинства. На его лице всегда играло то особенное выражение, какое бывает у людей, глубже других постигших тайный смысл жизни, но не желающих огорчать простоватых современников своим тайным знанием.

Возглавив в 2001 году «ЛГ», я ждал появления друга юности с минуты на минуту, даже спрашивал у секретарши, не заходил ли он в мое отсутствие. Нет — не заходил. Селезнев вдруг исчез. Несколько раз я предпринимал тщетные попытки разыскать его, пока покойный ныне Юрий Чехонадский (наш однокашник по семинару Сикорского) не сообщил мне, что Игорь, по выражению Михаила Светлова, «ушел в дальнюю область, загадочный плес...». И песню унес. К тому же предварительно сойдя с ума.

— Это точно?

— Точно, — скорбно кивнул Юра. — Перепроверил по нескольким источникам.

Юра был по образованию математиком, ко всему относился системно и даже с помощью формул убедительно доказал: ощущение, будто с возрастом дни становятся короче и сменяются быстрее, а время просто летит, вовсе не ощущение, а физическая явь. Чем дальше в жизнь, тем объективно длина наших суток сжимается, как шагреновая кожа. Хотите верьте — хотите нет.



Я принял эту весть о кончине Селезнева с грустной готовностью: наше поколение убывало стремительно: Коля Дмитриев, Гена Касмынин, Галя Безрукова, Женя Блажеевский, Саша Щуплов... Душевные заболевания и странности в нашей среде тоже не редкость. Достаточно вспомнить поэта Егора Самченко, в прошлом главного психиатра целого района Подмосковья. Так вот, при общении он сам напоминал мне пациента, сбежавшего из дома скорби. А знаменитый Диомид Костюрин (по прозвищу «Динамит Кастрюлин»), который нагишом выбросился из окна своей квартиры в центре Москвы, предварительно выпив и хрястнув об пол бокал «Советского шампанского»! Итак, готовя новую редакцию этого эссе, я вставил в мартиролог имя давнего товарища Игоря Селезнева, не забыв упомянуть о его помешательстве. Бражничая с соратниками литературной молодости, мы обаятельно вспоминали Игоря и пили за его светлую память и желали ему царствия небесного: он ведь был глубоко верующим человеком, постоянно осенял себя крестным знаменем и мог водить экскурсии по храмам Москвы.

Вдруг в 2016 году, весной, в Переделкино раздается звонок, и удивительно знакомый голос спрашивает:

- Юра, знаешь, кто тебе звонит?
- Кто?
- Только не падай!
- Я сажу за компьютером.
- Игорь Селезнев.
- ???!..

Оказывается, он прочитал мое эссе в интернете, обнаружил свое имя среди утрат, справедливо вознегодовал и решил восстановить справедливость. Мы встретились и обнялись. На мой вопрос, куда же он исчез и почему не давал о себе знать целых 16 лет, Игорь посмотрел на меня с мудрым сочувствием и ответил: «А зачем? Для того, что я сейчас делаю в поэзии, журналы, газеты, публикации, признание читателей вовсе не нужны...» Обращается же он ко мне, так как его задела мои слова о помешательстве.

- Разве ты не видишь, что я здоров?
- Вижу...

— Тогда дай опровержение, будь добр!

Вскоре в «ЛГ» вышла большая подборка Игоря Селезнева с моим извиняющимся предисловием, где я подчеркивал, что после долгой разлуки встретил друга юности, как принято говорить, в трезвом уме и здравой памяти. Вот только стихи в подборке были все те же, что я знал двадцать лет назад. На вопрос, нет ли чего новенького, он очень серьезно и чуть свысока сообщил, что пишет сейчас одновременно несколько сотен стихотворений, но показывать их не хочет — слишком сильным будет потрясение человечества...

## 16. Пациент жив!

Надо сознаться, став прозаиком, я все-таки не раз обращался к стихам. Нет, вернуться в то особое состояние, когда весь мир — лишь повод для точного сравнения или метафоры, окатывающей, как шайка ледяной воды, мне почти не удавалось. Но я тосковал по временам, когда удачная аллитерация, рожденная в трамвайной скуке, оправдывала прожитый день:

*Вот так он живет и прижизненной славы не просит,  
Но верит, конечно, в один из ближайших веков  
Привинтят, быть может, к автобусу сто сорок восемь  
Табличку «Здесь жил и работал поэт Поляков».*

Не случайно в моих драматических и прозаических сочинениях среди персонажей часто встречаются поэты. В пьесе «Одноклассница» спившийся пиит Федя Строчков читает мое юношеское стихотворение «Дразнилки, ссоры, синяки, крапива...», в свое время ценимое соратниками. Герой романа «Замыслил я побег...» Башмаков посещает литературное объединение, очень похожее на то, в которое ходил я сам. А в «Гипсовом трубаче» стихи стали важной частью романной ткани. Кто-то из критиков даже упрекнул меня в том, что я соорудил из вязниковской учительницы Ангелины Грешко лихую литературную мистификацию вроде легендарной Че-

рубины де Габриак. Ну в самом деле, чем не новое направление в поэзии, скажем, «неоархаизм»:

*Готический камин огнем ярится.  
Доспехи наспех свалены в углу.  
Голубоглазый странствующий рыцарь  
В мой замок постучал и зван к столу...*

Но я ответил критику, что любые мистификации бессмысленны, когда вся нынешняя поэзия, по сути, и есть сплошная навязчивая мистификация. Впрочем, стихи мне довелось сочинять не только для героев моей прозы. В начале 90-х, взбешенный тем, что происходило в Отечестве, я разразился политическими эпиграммами, частично опубликованными в оппозиционной прессе. Меня в те годы потряс сарказм глумливой Истории, которая творит тектонические перемены в обществе с помощью ничтожных и смехотворных людей.

*Знать, мы прогневили Всевышнего.  
Нет продыху от стервецов.  
Все Минина ждали из Нижнего,  
А выполз какой-то Немцов...*

Впрочем, если читатель полагает, будто теперь, попав в «кремлевский писательский пул», я доволен всем, что происходит в Отечестве, он глубоко ошибается. Писатель не имеет права быть в оппозиции к государственности, а вот в оппозиции к власти он обязан быть по природе выбранной профессии. Порукой тому мои «Стансы» (2011):

*Как же ты, страна, такую стала?  
Где стихи? Кругом один центон!  
Всюду вышибалы да менялы  
Да зубастый офисный планктон.  
Вместо субмарин — буржуев яхты.  
Вместо танков — «меринов» стада.  
Где рекорды, доблестные вахты?*

*Где герои честного труда?  
Где самоотвержцы, что готовы,  
Русь храня, остаться неглиже?  
Где Пожарский? Вместо Третьякова  
Вексельберг с яйцом от Фаберже!..*

Конечно, случались у меня и лирические рецидивы, правда, краткие, не такие жаркие и плодотворные, как прежде. Для лирики необходимо особое состояние, которое можно сравнить с отпускной беспечностью, словно ты гуляешь сам по себе в весеннем парке. А вот на лавочке — милая девушка с книгой, явно ей неинтересной. Подсяду-ка, а вдруг... Из этого «вдруг» и получаются стихи. Но когда ты тащишь в одной руке баул новой пьесы, в другой — у тебя чемодан-эпопея с оторванной ручкой, а за спиной — пудовый рюкзак «Литературной газеты» — тогда тебе, болезному, не до девушек. Даже если на парковой лавочке раскинется призывно обнаженная юница, ты вряд ли остановишься: сил не хватит. Впрочем, все и всегда свою творческую бесплодность объясняют занятостью, и никто — размягчением таланта.

Но иногда именно погруженность в трудоемкие жанры вдруг толкает бывшего поэта к стихам. Так, сочиняя пьесу «Как боги», где у меня действует древний китаец, я для достоверности погрузился в классическую поэзию Поднебесной и внезапно разразился странным циклом «Не в рифму»:

*Смешная девочка боится темноты.  
Нагая девушка — стеснительного света.  
Увядшая жена — что муж уйдет.  
Старуха — что не хватит на лекарства.*

Или вот еще:

*Мелькнула женщина за облетевшей сливой.  
Звук флейты яшмовой затих на берегу.  
Туман над озером горчит, как дым пожара.  
Грустна любовь в эпоху перемен...*

И вот что любопытно: последняя строчка дала название моему новому роману «Любовь в эпоху перемен». Стих помог прозе. А для романа «Веселая жизнь, или Секс в СССР» мне вообще пришлось выдумать анонимного советского поэта, из непроходных стихотворений которого, залежавшихся в редакции «Столичного литератора», я выбрал эпитафии-четверостишья ко всем восьмидесяти восьми главам этого повествования. Например, такой:

*Шагая с нашим веком в ногу,  
Он попевал едва-едва,  
А пил нечасто и немного:  
Раз в день, от силы литра два...*

Или:

*Мы разделись. Пахло в сауне  
Мятой и чабрецом.  
— Ах, не надо! — ты сказала мне  
С разрешающим лицом.*

Так что все еще может случиться. Бывших поэтов, как и бывших разведчиков, не бывает. Кстати, давно замечено, к старости многие, даже вроде бы совсем списанные на прозаический берег стихотворцы переживают творческий ренессанс, поражая читателей удивительными вещами вроде «Последней любви» почитаемого мной Николая Заболоцкого, которому в отличие от Бродского памятник так и не поставили. Возможно, и со мной случится нечто подобное... Насколько мои надежды обоснованы, читатель сможет решить сам, прочитав стихи «Из новых тетрадей», публикуемые в этом томе.

2001–2020

# СТИХИ



Готовя к печати этот том, я решил дать возможность нынешнему читателю увидеть мои первые книги такими, какими они вышли в свет в советские времена. Сегодня существует ложное мнение, будто при «проклятых коммунистах» публиковали только идеологически выверенную рифмованную халтуру, а настоящая поэзия таилась под спудом. Чепуха! Советская эпоха, даже поздняя, дала грандиозных поэтов, необыкновенно искренних и духовно самостоятельных. Многие из них, кстати, совершенно искренне верили в возможность построения справедливого общества. Другое дело, существовали «опасные темы», которые поэты старались обходить или прибегали, касаясь их, к эзопову языку, его тогдашний читатель прекрасно понимал. Разумеется, цензура тоже не дремала. Но она в видоизмененных формах существует и сейчас.

Книги выходили у нас не часто, и у авторов было время тщательно продумать название, состав и композицию. Из четырех моих советских сборников я лишь исключил несколько стихотворений, они мне, сегодняшнему, показались слишком слабыми по мысли и форме, а вот приметы той веселой эпохи я, наоборот, постарался сохранить в неприкосновенности, хотя наивность иных тогдашних откровений сегодня выглядит наивно. Но я тогда так думал и чувствовал, и мне кажется, именно эта «аутентичность» будет интересна сегодняшнему читателю. Да, вот еще: я восстановил десяток «непроходных» строчек, которые я переписал когда-то по настоянию мудрых редакторов, оберегавших молодого автора от конфликта с цензурой. Ну вот и все... Остальное, как говорится, в стихах...

*Ю. П.*







А через год  
уже цеха гудели.  
И мой отец не пожалел трудов,  
Чтоб на российском,  
выдюжевшем теле  
Белели шрамы новых городов.  
Но мирные заботы уравниали  
Хлебнувших  
и не видевших огня,  
И в нашем общежитии  
в медали  
Своих отцов  
играла ребяшня.  
На слёзные расспросы  
про награды  
Отец читал мне что-то из газет.  
— Не приведи!  
Но если будет надо,  
Заслужим,  
а пока медалей нет! —  
Я горевал.  
А в переулке сонном  
Азартно гомонил ребячий бой,  
Но веяло  
покоем, миром,  
словно  
Невыдохшейся майскою листвою.  
И мне,  
над кашей бдевшему уныло  
(Пока не съем —  
к ребятам не пойду!),  
Всё реже,  
реже мама говорила:  
— Эх, нам в войну  
такую бы еду!  
...Тянулись дни,  
и годы пролетали,  
И каждый очень много умещал.